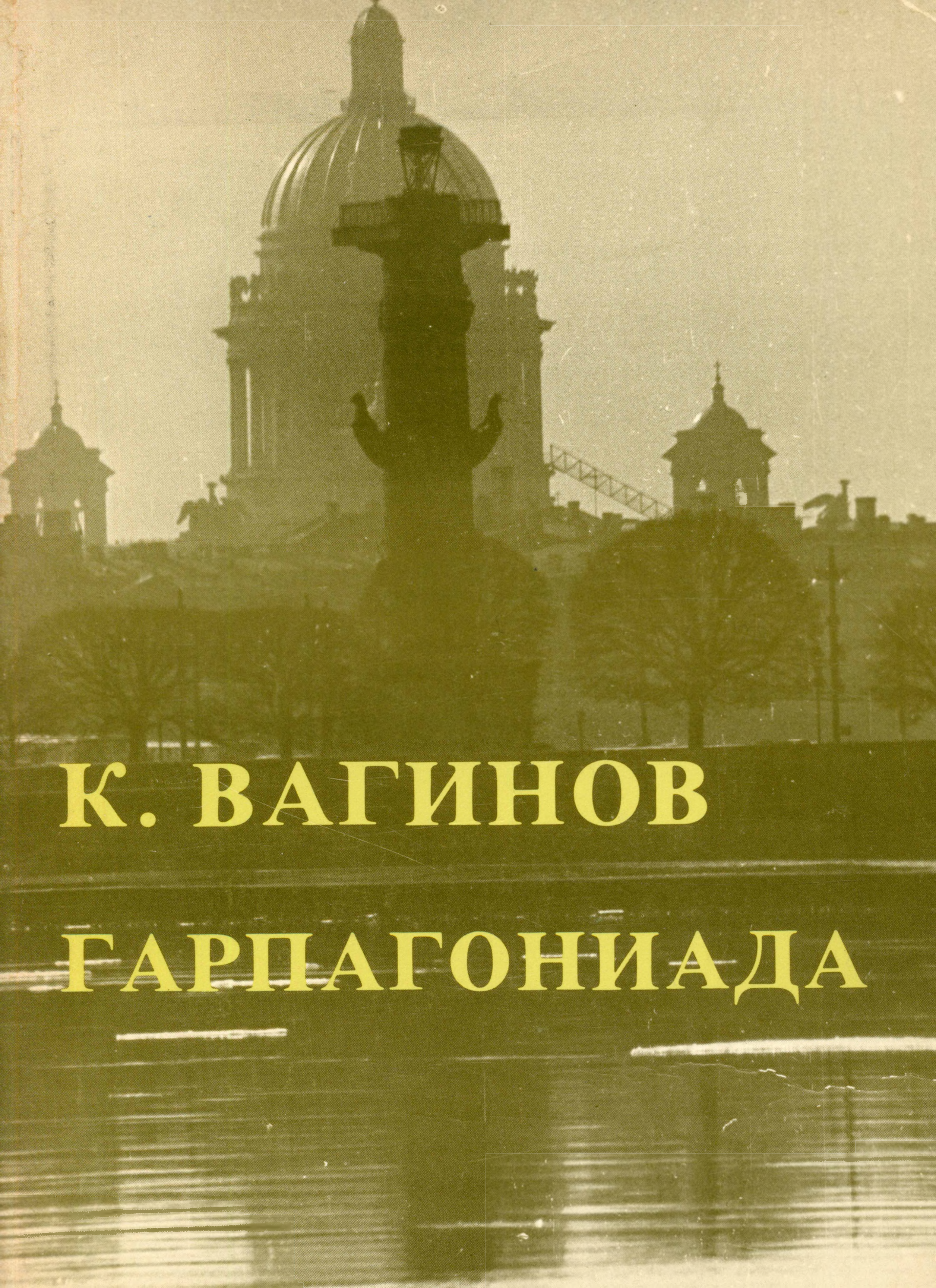
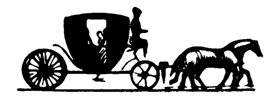


К. ВАГИНОВ

ГАРПАГОНИАДА



КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

ГАРПАГОНИАДА

Ardis, Ann Arbor

The publishers gratefully acknowledge the textological work of T. N.

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

ISBN 0-88233-667-3
ISBN 0-88233-668-1 (pbk.)

ОГЛАВЛЕНИЕ



ГАРПАГОНИАДА

ГЛАВА 1

СИСТЕМАТИЗАТОР

Коренастый человек с длинными, нежными волосами, в расстегнутой студенческой тужурке, с обтянутыми черной материей пуговицами, в зелено-голубоватых потертых диагоналевых брюках сидел за столом на кухне.

Стол освещала электрическая лампочка, висящая на шнуре. Перед человеком лежали: ногти остроконечные, круглые, женские и мужские различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено, где, когда ноготь срезан и кому он принадлежал.

Была глубокая ночь.

Дочь и жена сидевшего за столом человека давно уже спали.

И то, что все спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое наслаждение.

Он перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему известном порядке.

Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок, он искал его, он искал признаков, по которым можно было бы систематизировать эти предметы.

Он брал ногти на ладонь и читал надписи:

Самарканд	Саратов	Астрахань
1921 г.	1922 г.	1926 г.
Копошевич	Улунбеков	Карабозов

Осторожно перетирал тряпочкой.

Он был горд, он предполагал, почти был уверен, что никто в мире, кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов.

Один ноготь от движения его руки соскользнул со стола и упал на пол.

Сидевший переменился в лице.

Под столом было темно и пыльно.

Бодрствующий присел на корточки; но не увидел ногтя.

Злобствуя и ругаясь, зажег спичку. Он боялся раздавить ноготь. Осветив пол, он еще больше испугался. В полу оказались трещины и щели.

Но к счастью ноготь Улунбекова нашелся. Он мирно лежал у стены. Одно неловкое движение и ноготь провалился бы в щель.

Торжествуя, человек поднялся, стал сдувать с предмета пыль, протер его тряпочкой и осторожно, как святыню, положил в коробочку.

Снова сел за стол и задумался.

Неся ногти в абиссинских резных коробочках, человек прошел закоулок, где стояла недорогая дореволюционная энциклопедия, и вошел в свою комнату. Комната была необычайно узка (ее можно сравнить с отрезком коридора) и до предела насыщена влагой. Сыро в ней было до такой степени, что две стены были буквально обнажены от обоев. Серая штукатурка была почти мягка.

У стены, лишенной обоев, стояла, вплотную, его кровать с серыми влажными плоскими подушками и суровым, не менее влажным одеялом.

У покрытого льдом окна – коробки, сундучки и фанерные ящики из-под фруктов. На отжившем расклеившемся письменном столе – конвертики, свертки, пузырьки, книжки, каталоги, владельцем комнаты самим сочиненные.

В шкапу хранились бумажки, исписанные и неисписанные, фигурные бутылки из-под вина (некоторые из них должны были изображать великих поэтов, писателей, деятелей науки, политики), высохшие лекарства с двуглавыми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, бабочки, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские визитные карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с веревкой, наподобие рога торчащей из табаку, булки с тараканом, образцы империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и пролетарских обоев, огрызки государственных и концессионных карандашей, открытки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные и неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадтского, набор клизм, поддельные и настоящие камни (конечно, настоящих было крайне мало), пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на чашку чая по случаю прибытия делегации, на доклады о международном положении, пачки трамвайных лозунгов, первомайских плакатов, одно амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские темпы ликвидации неграмотности был здесь.

С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен был систематизировать и каталогизировать. Все это он должен был распределить по рубрикам.

Он сел на свою сырую постель, тоже заваленную всевозможными предметами. Он осторожно вытянул ноги, весь пол был покрыт предметами.

Он снял сапог и взглянул на визитные карточки, ему жаль было ложиться спать. Ведь можно было еще поработать.

Он поднял с полу свежепринесенные визитные карточки, стал просматривать их, расшнуровывая второй сапог.

Loguiboff
Capitaine aux gardes
Aide de campe de son Altesse Royale le duc
Alexandre de Vortembera

– К какому же разряду эту голубую женственную карточку отнести? Пожалуй, таких карточек не очень-то много на свете существует. Назовем пока этот разряд – экзотические визитные карточки.

Владимир Христианович
Хольм
Представитель Администрации по делам "Р. Кольде"
Вознесенский пр., 36. Тел. 235-59.

– Карточка представителя частной торговой фирмы начала XX века.

Иван Иванович
Персональный

– Вот куда эту отнести – совсем неизвестно. Профессия не обозначена, а фамилия запоминается. Может быть он был присяжный поверенный? Поставим знак вопроса. Справимся по "Всему Петербургу". Придется завтра пойти в Публичную Библиотеку.

Карточки под мрамор, перламутр, слоновую кость, с траурными кантами, золотыми обрезами, он положил на чистенькое место, чтобы они не запылились.

Завтрашнюю ночь он посвятит визитным карточкам.

Человек стал снимать тужурку, но заметил, что на стуле лежат этикетки от баклажанов.

– Жена у меня золото, – подумал он, – она обо мне заботится.

Эта комната казалась заманчивой его ребенку. Из спичечных коробок так хорошо раскладывать домики, интересно рассматривать картинки с тетями и зверями, с цветочками, доламывать сломанные часы. Но злой папа не позволяет играть; он даже не впускает в комнату свою Ираиду, даже попорченных жуков не дает отец своей дочке, даже поломанных бабочек.

Ведь надо иметь и образцы порчи, образцы зигзагов излома, классифицировать всевозможные повреждения от паразитов, от падения, от неаккуратного обращения.

Зуб, попорченный костоедом, прибавлял к другим зубам, стоптанные каблуки к другим стоптанным каблукам, поврежденные пуговицы к другим поврежденным пуговицам.

Все это размещалось по коробочкам, по конвертикам, надписывалось.

Когда у систематизатора родилась дочь, он сказал жене:

– Я не перевариваю детей до году.

Но однажды, когда из комнаты все ушли, он подошел к колыбели и попробовал, мягкие щеки у ребенка или нет, и задумался: он видел, как дочь подрастает, как у нее отрастают волосы и ногти, как выпадают молочные зубы, волосы и ногти он стрижет, зубы собирает в коробочки, у дочери появляются подруги, у подруг тоже волосы и ногти отрастают, молочные зубы выпадают.

Дочь его собирает эти предметы для отца.

Ласково склонившись, смотрел отец на свое призведение.

Он видел:

Вот дочь ловит всяких мух и приносит ему.

В школе собирает для него огрызки карандашей, выменивает фантики, подбирает для него разные бумажки, первые пробы пера, черновики классных работ.

Вот, она уже взрослая и помогает ему в деле систематизации.

– Да, – подумал он, – недурно иметь ребенка.

Систематизатор посещал обладателей мелочей.

Работы у преподавателя голландского языка было достаточно. Скопидомов в городе много.

Бухгалтер Клейн, например, копил все с изображением Петербурга, от открыток до пивных этикеток. Престарелый дон-Жуан, режиссер небольшого театрика – свистульки, кино-актер – дамские перчатки. Были собиратели обрывков кружев, кусочков парчи, бисеринок, дамской отделки.

Для всех этих людей город являлся золотым дном, северным Эльдорадо, новым Геркуланумом и Помпеей.

Названные лица все свободное и не совсем свободное время тратили на раскопки.

Они раскапывали комнатки еле двигающихся старушек и старичков, у которых что-либо еще сохранилось.

Одолевемые страстью к собственности, другие собирали не предметы, а нечто нематериальное... но обладающее известным вкусом и запахом, например: ругательства, анекдоты, красивые фразы из книг, обмолвки, ошибки против русского языка.

Одни из скопидомов погружались в гордые мечты, преувеличивая эстетическую ценность некоторых предметов (кружев) , другие объясняли свое накопление (дамские перчатки) желанием написать особую книгу, "История дамских перчаток", третьи – любовью к зрелищам, радующим глаз (парча) .

Так жил систематизатор среди этих своеобразных капиталистов, бандитов, и разбойников, не брезговавших кражей, похищением цен-

ных для стариков и старущек, часто лишь по воспоминаниям, предметов. Эти собиратели были настоящие эксплоататоры, неуловимые, жестокие и жадные.

Они незаметно своих знакомых превращали в своих рабочих, они путем морального воздействия заставляли их трудиться в пользу частного накопления.

В этой части общества существовала нерегламентированная государством меновая и денежная торговля, купля и продажа, неуловимая для финансовых органов. Здесь платили довольно дорого за какую-нибудь табачную этикетку первой половины X1X века, за какую-нибудь фабричную марку, покрытую позолотой.

Эти эксплоататоры не брали патента, они жили вольной разбойничьей ассоциацией. В невозможных для частного накопления условиях, они все же, обойдя все законы, удовлетворяли свою страсть.

Жена систематизатора уехала с ребенком на дачу в Левашово.

Жулонбин не поехал, он предпочитал не расставаться со своим богатством.

Но он, конечно, проводил свое бедное семейство на вокзал и обещал при первой возможности навестить. На прощанье Жулонбин сказал:

– Ты сама видишь – они заплесневели.

Систематизатор даже облегченно вздохнул после отъезда своих домашних на дачу.

Он внес свои вещи в комнату жены.

За зиму все это в сыром помещении страшно пострадало.

Спичечные коробки покрылись плесенью, расклеились, перья заржавели, на огрызках карандашей краска разбухла, афиши стали неимоверно влажными и готовы были расползтись.

Систематизатор стал раскладывать и расставлять свои богатства.

На подоконник положил спичечные коробки и огрызки карандашей.

– От солнца могут выгореть краски, – подумал он.

Снял Жулонбин вещи с подоконника.

Он обратил внимание на черную резную этажерку.

Он снял с этажерки фарфоровый грациозный бюстик Жанны д"Арк, бронзированную кошечку скопидомку, статуэтку цвета морской волны, изображавшую голую женщину с распущенными длинными до пят волосами.

Отнес все это в угол комнаты.

Разложил пестрые экспортные спичечные коробки с аэропланами, Пандорой, римскими колесницами, пальмами, скачущим жокеем, пантерами, тиграми, оленями, гербами государств, видами островов, с надписями на китайском, арабском, английском, французском и других языках.

Пандора сильно пострадала, плесень выела белое лицо, босые ноги

часть рыжих волос.

Систематизатор осторожно стал отдирать афиши одну от другой и класть на постель своей жены.

Окно было раскрыто и в комнату проникал запах дрожжей, исходивший от расположенного напротив пивоваренного завода.

Жулонбин сел на подоконник боком и предался размышлению.

Он думал о том, что можно соединить приятное с полезным, что теперь может быть удастся, благодаря отъезду жены, расставить и разложить в этой комнате множество вещей в известном порядке и тогда легче будет систематизировать.

Он стал освобождать комнату жены от громоздких предметов: посуды, фикусов, кактусов, скатертей, сундуков с имуществом жены.

Вместо посуды на безногий буфетик с зелеными пупырчатыми стеклышками, он поставил набор сухих свадебных букетов.

Под круглым зеркалом с изображением фонтана, на столике, обтянутом кисеей, он разложил вынутые из аптечных коробочек всевозможные жетоны, значки ОДН, ОПТЭ, ОДР, флажки, обозначающие отрасли промышленности, ордена.

На обеденный стол он стал наваливать лозунги и плакаты.

Ребенок подрастал. Тайком от отца девочка стала собирать спичечные коробки, но только в отсутствии отца она могла играть ими. В отсутствии отца она строила домики.

Отец сам стриг своей дочери ногти, матери он запретил это занятие.

Таким образом, благодаря своему отпрыску, систематизатор приобрел ногти нужной ему длины и формы. Таким образом он получил добрую сотню вариантов.

Что бы ни приносила в дом дочь – все отбирал отец. Девочка не понимала и плакала.

– Да дай же ребенку поиграть! – говорила жена своему мужу. – Ограничь же в конце концов свою ненасытность. Собирать можно, но собирание стало для тебя культом, нельзя же так в конце концов! Дай ребенку порезвиться, ведь детство бывает только раз в жизнь.

Она перестала впускать отца одного в свою комнату.

Всегда ее комната в ее отсутствии была заперта на ключ. Комната систематизатора тоже была заперта на ключ.

Но жена знала, что все равно, муж ее обворует.

Она жила в вечном страхе, что муж проникнет и похитит фантики, похитит бумажные кораблики, разрозненные колоды карт, кубики, азбуку.

Муж надеялся, что жена постарается восполнить пробелы и таким образом в конце концов эти набеги не повредят дочери, а ему принесут даже пользу. Появятся новые предметы, которые когда-нибудь можно

будет взять.

Следил отец, как подрастают локоны у дочери.

Раз в отсутствии жены посадил систематизатор дочь к себе на колени, дал ей поиграть сломанным восковым гусем, взял незаметно ножницы и отрезал предмет восторга жены – детский локон. Другой оставил, пусть подрастет еще. Может быть и цвет переменится, какой-нибудь новый оттенок появится.

Вернувшись из очереди, жена увидела совершенное и почувствовала отвращение к мужу.

– Нельзя же быть таким бесстыжим! – закричала она и заплакала.

– Если ты не хочешь, чтобы я ушла с ней, не смей к ней прикасаться и пальцем, стриги волосы и ногти у своих знакомых, а моей дочери я тебе не отдам.

– Брось его! – говорила подруга, – это не человек, а какой-то крокодил.

Но Клавдии жаль было его бросить, Клавдии казалось, что вот муж перестанет перебиваться случайными уроками, все пойдет по-новому. Он поступит на службу, у него появятся новые интересы, он увлечется работой, он расстанется с мало симпатичными ей собирателями спичечных коробок, тростей, свистулек, а главное с этим, постоянно шляющимся к ним покупателем ругательств.

Да, этот врач крайне несимпатичная личность, насквозь прожженный циник. Небольшого роста, пузатый, с выпученными глазами, он всюду собирал ругательства. Видно, что он своей ролью наслаждается.

– Вот какое я ругательство подцепил! – и радостно хохочет. – Да, я в свое удовольствие живу!

Клавдия задумалась.

А в это время дочь вытащила белье из нижних ящиков комода и разбросала по полу. Подошла к плите, раскрыла книгу и начала ею золу выгребать, рассыпала карандаши и всю себя разрисовала.

Всплеснула мать руками:

– Это ты что же?

Вымыла девочку и пошла с ней гулять.

Стала она гулять с дочкой по скверу.

Увидала Ираида девочку с большим голубым мишкой, берлинской игрушкой.

– Мама, мишище-то, мама, мишище-то! – стала повторять она и рваться от матери.

Ходили они за этой девочкой, обладательницей резинового зверя около часу, все смотрели на мишку.

– Мама, лапку, мам, хоть за лапку подержать.

Женщина, девочка, надутый воздухом мишка сели на скамейку. Состоялось знакомство. Девочка дала другой девочке подержать мишку за лапку. Матери разговорились.

ГЛАВА 2

ПОИСКИ СОЛОВЬИНОГО ПЕНИЯ

Тридцатипятилетний человек проснулся. Глаза его были закрыты. Он знал, что если только он раскроет глаза, то ему уже не удастся узнать, видел он сон в эту ночь или нет, поймать быстро исчезающее, если на него во время не обратить внимания, сновидение. Лежать утром с закрытыми глазами он решил еще вчера, потому что он чувствовал, что больше не может жить без своего сновидения.

Он лежал неподвижно, погруженный в себя и силился вспомнить, но вспомнить ничего не мог.

"Между тем все люди видят сны, только не всем дано запоминать их, закреплять в ощутимых образах. Не яблоки ли я видел? – думал Локонов, – не себя ли я видел маленьким мальчиком, ворующим яблоки?"

Локонов лежал с закрытыми глазами. Сон, виденный им, волновал его.

"Что это все значит, – думал он, – что могло вызвать это сновидение?"

Но постепенно из-под этого сна выплывал другой сон. Локонов понял, что он едет в трамвае на свидание с собой и видит, что вот там на панели, у Публичной Библиотеки стоит он, Локонов, и вот из-под этого сна вырастает еще сон...

– Где же мой прекрасный сон, где же сон моей юности! – почти воскликнул Локонов и раскрыл глаза:

– Что ж , встанем, почитаем Артемидора, – подумал он иронически. – Нет, нет, почитаем лучше о любви. Не почитать ли Иль Корбаччьо, или Азоланские беседы Пьетро Бембо или Иль-Кортеджано Бальтазаро Кастильоне, или, может быть, индусскую книгу "Кама Сутра". Но не лучше ли попасть в живое высокое женское общество.

Локонов вспомнил, что вчера его пригласила на свое рожденье одна дама, знакомая его матери.

– Надо пойти. Наверно, там будет и молодежь, – думал Локонов. –Милые лица, задушевные разговоры. Надо окунуться в молодое женское общество.

Долго Локонов проводил себя в порядок.

На улице он открыл в своей походке нечто, что его ужаснуло. Это уже не был легкий шаг юноши.

Локонов вошел в длинную комнату, всю заставленную громоздкой мебелью. Он окинул взором комнату. Бюро грушевого дерева,

старинный комод, зеркальный шкаф, портрет оперного артиста с надписью.

Натоплено.

Сидят две пожилые грушевидные дамы; молоденькая, тоненькая, как хлыстик, барышня и пожилой инженер.

– Не заграничный ли у вас галстух? – после первых приветствий спросила Локонова близорукая, седая, лет пять тому назад омолодившаяся дама.

Локонов ответил, что у него галстук самый простой, не заграничный.

– Но может быть у вас ботинки заграничные? – спросила дама.

– Подумайте, у меня в Париже остался целый сундук трофимовских туфель. У меня сейчас есть заграничные туфли, – пояснила она, смотря на ботинки Локонова, – только я носить их не могу, пятки они до крови стирают. Как вы думаете, – обратилась она к другой пожилой даме, – что если дать кому-нибудь их разносить, я думаю, тогда им сносу не будет, лет пять можно будет носить? Ах, какая у вас сумочка, – повернулась она к молоденькой девушке, – наверно, заграничная, – и, не слушая ответа, продолжала: – у меня есть дивный бювар, зеленый сафьян. Не знаю, кому заказать. Работают все теперь так грубо, только кожу испортят, да и замков изящных нет, а сумочка вышла бы модная. И вот на днях, – обратилась она к пожилому инженеру, – была я на Николаевском вокзале. Мне страшно захотелось пить. Как они едят, как они едят, – прервала она себя, – каждую косточку обсасывают, а от компота косточки плюют прямо на стол. А я, знаете, к этому не привыкла. У меня была дивная сервировка. Вообразите, весь стол усыпан гвоздиками, резедой, розами. Бедные, бедные цветы, они вянут! На эти цветы ставились приборы, тарелки, закуски, вина.

Локонов чувствовал себя не совсем хорошо в этом обществе.

"Душа общества" продолжала.

– Еду в трамвае, и вдруг незнакомый господин мне говорит:

– Гражданка, у вас на шляпе плевок!

– Как мог попасть на мою шляпу плевок? – подумала я. Но все же я сняла шляпу. И что ж вы думаете, действительно, плевок. Пришлось вытереть носовым платком. Стала я делать разные предположения, как мог попасть на шляпу плевок. Должно быть, кто-нибудь рассердился, что я сижу, а ему приходится стоять. Взял и плюнул.

Локонову хотелось молодости. Он подсел к худой, как хлыстик, девушке. Она оживилась.

– Я работаю на Электросиле, – сказала она. – У нас работает много иностранцев. И каждый иностранец имеет право пригласить в "Асторию" двух знакомых дам. Вот, однажды, подходит ко мне иностранный инженер и говорит:

– Не хотите ли вы вместе с вашей подругой пойти со мной пообе-

дать в "Асторию".

– А я ему говорю: у меня не одна, а две подруги.

– Но, милая барышня, – ответил он, – мы ведь имеем право брать только двух дам с собой.

– И вот он мне рассказал:

– Дамы, которые с нами там бывают, совсем не умеют есть. Они не знают, где нужно прибегать к помощи ножа и что вообще не следует злоупотреблять ножом. Они, например, режут беф-строганоф ножом.

– Я теперь служу машинисткой, – обратилась девушка к Локонову, – но я хочу стать переводчицей и обслуживать иностранных специалистов. Это моя мечта. Как вы относитесь к этому?

Опять в ушах Локонова раздался голос хозяйки, помнившей,что следует занимать гостей.

– Подумайте только, какие я подарки делала. Прислуге, например, подарила зеркальный шкаф или кровать, просто потому что мне не нравится.

Хозяйка помолчала.

– Подумайте, какая я непрактичная!

Локонов обвел общество взглядом визионера. Голос дамы доносился как бы издалека. Девушка, сидевшая с ним рядом на диване, казалась ему неполным созданием, ей чего-то не хватало. Ему казалось, что и всему обществу чего-то не хватает, что оно к чему-то не причастно. Он чувствовал, что он сидит в обществе лишенном душ, обладающем только формами, как бы в плоскостном обществе. Но тут вошла Юлия.

ГЛАВА 3

ТОРГОВЕЦ СНОВИДЕНИЯМИ И ПОКУПАТЕЛЬ

Сновали скупщики, перекупщики, спекулянты, менявшие одно на другое с выгодой для себя в денежном или спиртовом отношении. Конечно, эти спекулянты не пировали под пальмами где-нибудь в роскошной гостинице, там, где останавливались иностранцы, на это у них пороху не хватало, они не купались в мраморных ваннах и не неслись на автомобилях, они довольствовались малым какой-нибудь попойкой на дому, чаепитием в семейном доме.

Сегодня Анфертьеву повезло: он на барахолке у человека, торговавшего заржавленными напильниками, сломанными замками и позеленевшими пуговицами с орлами, дворянскими коронами и символами привилегированных учебных заведений, купил медное крошечное мурло с зубастым ртом до ушей и торчащим, прямым, как палка, носом.

– Что это за дрянь? – Спросил Анферьев, делая вид, что не понимает.

– Это для ключей, – ответил торговец, – Крюк.

– Для ключей-то мне не надо, – сказал Анфертьев, – вон если б это был гвоздик с шапочкой, то можно было бы на него картину повесить!

– Что ж, и картину на этот нос можно повесить...

– Нет, не подходит, – ответил Анфертьев, – мне нужен гвоздь с бронзовой шляпкой в виде розы, нет ли у вас такого.

– Гвоздей нет. Берите это, прикроете гвоздь этой личностью как шапочкой, почистить мелом, конечно, надо, недорого обойдется.

– А сколько возьмете? – вяло, как бы нехотя, спросил Анфертьев, делая вид, что идет дальше.

– Да берите за двугривенный.

– Двугривенный дорого, гривенник дам.

Вот и купил Анфертьев японскую пряжку от кисета для табаку.

– Три рубля есть, как пить дать, – подумал, отходя, покупатель, – еще бы на три рубля достать, и сегодняшний день пройдет, что надо.

Он остановился и стал слушать, не ругается ли кто-нибудь.

Нет, здесь у забора никто не ругался.

Анфертьев пошел дальше по рядам.

– Эх, два бы ругательства достать, – подумал перекупщик, –только бы два ругательства, и рубль денег в кармане. Три да рубль все же четыре.

Он сел на корточки и стал рыться в бумажном хламе.

– Сколько возьмете за это? – спросил он, рассматривая детские

рисунки.

– Давайте двугривенный, – ответила баба с лицом пропойцы.

– Двугривенный дорого, – ответил Анфертьев – вот три бумажки за пятачок возьму, обратную сторону использовать можно.

– Да что ты жмешься! – возмутилась женщина, – ведь бумага, я ее дороже на селедки продам...

– Пятачок! Хочешь отдавай, не хочешь – не надо.

Анфертьев улыбнулся.

– Ну, бери, жмот... – выругалась женщина.

– Еще тимак... – подумал Анфертьев, – вот три бумажки за пятачок возьму эх-ма, где наша не пропадала...

В узком каменном доме, украшенном львиными головками, ночью сидели преподаватель голландского языка и бывший артист, ныне, ввиду большого спроса на технический персонал, чертежник, Кузор.

– А нет ли у вас двойных свистулек? – спросил Жулонбин.

– Есть несколько поломанных.

– Вот и прекрасно, – сказал, радуясь, Жулонбин. – Меня ломанные предметы больше цельных интересуют. Я рассмотрю ночью и постараюсь найти для них классификацию.

– А сновидения вы не пытались собирать? – спросил чертежник. – А то у меня есть один знакомый, он сны собирает, у него препорядочная коллекция снов. Какой-нибудь профессор дорого за нее дал бы! У него есть сны и детские, и молодые.

– Познакомьте меня с ним, – взмолился Жулонбин. Руки у систематизатора задрожали.

– Охотно, – покровительственно ответил Кузор, – хотите, мы завтра отправимся к нему.

Всю ночь не спал Жулонбин. Он видел, что собирает сновидения, раскладывает по коробочкам, надписывает, классифицирует, составляет каталоги.

У Локонова уже стоял Анфертьев и продавал ему сны, записанные у старичка.

– Сон Ивана Иваныча из ряда вон выходящий – говорил Анфертьев, – меньше, чем за два рубля не отдам. Любителей-то у меня много, а такие сны попадаются не часто.

– Но ведь это страшно дорого, – настаивал Локонов,– за нечто нереальное платить такие деньги.

– Как, нечто нерелальное, – возражал Анфертьев. – Сон-то и есть высшая реальность, во сне-то человек весь раскрывается.

– Вы правы, – согласился, смутившись, Локонов.

– Да пусть это будет и не реальность, а сказка, и за сказками другие за тридевять земель ездят, тьму денег тратят. Нет, как угодно, дешевле никак нельзя.

– За все принесенные вами сны дам я вам три рубля, – твердо сказал Локонов.

– Помилуйте, ведь это грабеж! – взмолился Анфертьев.

– Ну, да ладно, на чем-нибудь другом наживу, – подумал он и, вздохнув, согласился.

– А теперь попьемте чайку, – ласково предложил Локонов. К чайку-то и подоспели чертежник и преподаватель голландского языка.

– Скоро, скоро, – воскликнул за чаем Анфертьев, обращаясь к Кузору, – будет у меня для вас новенькая свистулька, уж я присмотрел у одного старичка! Уломать придется. – Память! – говорит, – не продается!

– А для вас у меня есть детские картинки, – сказал Анфертьев Жулонбину. – А вот для одного покупателя я достал серебряный футляр для ногтя!

– Покажите мне его, – попросил Жулонбин.

– Да нет, я его не взял с собой, – ответил Анфертьев. Он видел, как задрожали руки у Жулонбина.

– Это музейная вещичка, ее нужно хранить, как зеницу ока. Детские картинки желаете посмотреть?

У Жулонбина ни гроша не было с собой.

– А вот сон одного молодого человека. Образования молодой человек превосходного, а ведь вот какой сон увидел. Сон, можно сказать, на вес золота. Прочесть, а прочесть? – спросил Анфертьев, – только условие: рубль, не меньше, это, можно сказать, не сон, а целое полотно, ужасная картина. Вот, представьте себе молодого человека, сидит он, книжки читает, а на подъеме у него образовалась как бы мозоль. Взглянул, увидел не мозоль это, а глаз с совершенно ровными веками с ресницами, но без зрачка. Испугался молодой человек, снял туфлю, стал осторожно сапог надевать, чтобы никто не заметил. Надевая, попробовал глаз открыть, но глаз хотел спать. У меня это все в точности, аккуратно записано, много подробностей, и цвет глаза и все, и недорого, рубль всего.

Анфертьев опрокинул рюмочку.

– Не хотите это – другой сон предложу.

Анфертьев стал ощупывать карманы.

Неужели потерял? Вот на этом лоскутке бумажки как будто. Нет, на другом... Не сон, а ужасная драма в пяти частях "Двое служащих и отрезанная голова девушки". Такой картины и в кинематографе не увидите, только в детективном романе прочтете. Спит бухгалтер и во сне видит, что все спят в тресте, но он не спит и его начальник не спит. Видит бухгалтер, они мило беседуют. Вдруг замечает, что его начальство с ужасом смотрит наверх, а наверху из гигиенического матового абажура отрезанная голова пишбарышни торчит и улыбается.

– Это все хорошо, – ответил покупатель, – но мне хотелось бы

побольше снов лирических, ужасных снов достаточно у меня скопилось, знаете, нужно сохранять во всем равновесие. Сейчас мне лирические сны нужны.

– Что ж вы не предупредили, – возразил Анфертьев, опрокидывая рюмочку, – ведь на прошлой неделе вам как раз ужасные сны нужны были, а теперь вы от них отказываетесь, другие сны вам нужны! Если б я знал, я бы достал для вас лирические сны. Хотя, одну минутку подождите, как будто один лирический сон есть. Ах, нет, сказал он сокрушенно, пробежав бумажку глазами. – Не лирический сон, а комический, хотя и со стихами, а со стихами сны не очень-то часто встречаются.

Покупатель заинтересовался.

– Какие стихи? – спросил он.

– Стихи-то комические, не подойдут, – сказал торговец.

– Все ж прочтите, – настаивал покупатель.

Анфертьев прочитал по бумажке:

Вот идут опять
Вот идут смотри
Морда номер пять.
Рожа номер три.

– Не подойдет, – сокрушенно сказал покупатель, – сейчас мне нужны лирические сны.

Локонову сейчас, действительно, хотелось лирических снов, он был влюблен в одну девушку и не пользовался взаимностью. Она не замечала его. Ему хотелось утешиться снами, купить небольшое количество снов о любви с какими-нибудь прелестными пейзажами, с каким-нибудь берегом моря, с какими-нибудь Альпийскими вершинами, с какой-нибудь возвышенной и трагической любовью.

– Хорошо, – помолчав, сказал Анфертьев. – Есть у меня одна дама, она видит красивые сновидения, каждую ночь красивые сны видит с туберозами, с верандами, с пикниками, с танцами. Только трудно будет достать, расходы будут.

– Хорошо, я у вас возьму ужасные сны, – сказал Локонов – ведь вы не виноваты, ведь мне, действительно, в прошлый раз хотелось ужасных снов, хотелось как-то взвинтить себя.

Кузор и Жулонбин играли в шахматы. Они знали, что покупателю и торговцу не следует мешать, они делали вид, что ничего не слышат и не видят, что они погружены в шахматную игру.

После ухода Анфертьева потребитель снова сидел мрачный и задумчивый. Сам он утерял способность видеть сны.

Жулонбин и Кузор вышли вместе.

– У матери Локонова, – сказал мечтательно Жулонбин, – должно быть много интересных вещей сохранилось. Вот бы ее пощипать...

– Да неудобно, – ответил Кузор, – все же она моя хорошая знакомая.

– Да, конечно, – согласился Жулонбин, думая, что лучше действовать одному. – Конечно, вы правы.

– Я слышал у вас хорошо представлены спичечные коробки, – сказал Кузор, – вот бы мне взглянуть. Вот новость! Существует общество собирания мелочей старого и нового быта. Где оно помещается – не знаю, слухи носятся, что они достали замечательную коллекцию японских спичечных коробков. Японские – не чета нашим, в виде старинных гравюр, с круглолицыми богами и длиннобородыми духами, с лотосами, воздушными пейзажами. Вообще, нам бы следовало с этим обществом связаться. Не знаете ли вы, где это общество помещается? Говорят, его основал какой-то инженер, связался с Японией, Польшей и чуть ли не с Индо-Китаем.

– Не слышал, – ответил Жулонбин, – только ведь меня рисунки на коробках не интересуют, меня совсем другое интересует.

– Да, да, – сказал Кузор, – вас и содержание автографов не интересует. А правда, вы собираете огрызки карандашей? – добавил он. – И человеческие пупки тоже? Про вас ведь тоже ходят целые легенды!

Жулонбин выпрямился.

Он сказал:

– Однако мне пора, вот и мой дом. Все же, пожалуй, нам следует связаться с кружком инженера.

Ночью Жулонбин разложил спичечные коробки.

– Да, – подумал он, – а японских-то нету. А классификация будет неполной без японских, и совсем непростительно потому что оказывается, японские в нашем городе существуют. Необходимо познакомиться с этим инженером. Анфертьев, подлюга, знает, что мне футляр для ногтей нужен, вот и дорожится!

Утром, в отсутствии жены, украл Жулонбин у своей дочери ботинки, взял и, спрятав под пальто, отнес их к Анфертьеву. Анфертьев сидел, держа огурец, на табуретке и курил.

Башмачки были совем новенькие.

– Я хотел бы купить у вас китайский футляр для ногтя, сказал Жулонбин, – покажите мне его.

– Лучше бы калоши, – сказал Анфертьев, – калоши легче продать. В торговом деле быстрый оборот нужен. Эти-то ботиночки, пожалуй, не скоро купят. Ну, ладно, раз принесли взять нужно. Заплатите тимак, и футляр для ногтей ваш.

– У меня нет с собой денег, – ответил Жулонбин.

– Хоть двугривенный, без денег никак нельзя, – сказал Анфертьев.

Жулонбин поискал в карманах, нашел пятиалтынный.

– Пятачок за мной будет, – сказал он.

Анфертьев покачал головой.

– До чего страсть людей доводит, – подумал он.

– У меня еще к вам дело, – сказал Жулонбин. – Не знаете ли вы инженера, у которого японские спичечные коробки имеются.

– Не знаю, – ответил, заинтересовываясь, Анфертьев, – попытаюсь узнать. Это и меня интересует. Кто вам про этого инженера говорил?

– Да говорят, целое общество есть, интересно с ним связаться, – сказал Жулонбин.

– Ладно, – подумал Анфертьев, – узнаем.

Следом за Жулонбиными вышел Анфертьев. Ударяя ботиночек о ботиночек, шел Анфертьев по улицам к рынку. Подходя к рынку, стал выкрикивать:

– А вот, кому надо детские ботиночки, налетай!

Анфертьев был черноволос, косоглаз, смугл, похож на цыгана. Мать его, француженка, пела когда-то в итальянской опере. Анфертьев утверждал, что его мать – племянница Густава Дорэ. Отец Анфертьева был присяжный поверенный. Анфертьева некоторые обстоятельства заставили стать пропойцей. Сейчас он был доволен своей долей, он жил весело, по воскресным дням ездил с девицами на острова.

На травке распивали они бутылочку или дюжинку и нежились на солнышке под кустами акаций, под березкой, сосной или елью.

Если б не пил Анфертьев, то он бы хорошо зарабатывал, но вино губило Анфертьева. Заработает он в день рублей 20 и три дня пьет до одурения, пьет до тех пор, пока не свалится. Проснется обчищенный и почти голый где-нибудь за городом или на Обводном канале, или за Нарвской заставой, или в Выборгском районе и смеется.

– Как я сюда попал, убей меня бог, не помню. Вот стервецы, опять меня обокрали!

Соберет у клиентов денег на опохмелье и пойдет опять торговать. В его комнате кроме табурета и кровати ничего не было, только висела фотография Вареньки Ермиловой в форменном платье театрального училища, подаренная Василием Васильевичем.

Василий Васильевич почти любил Анфертьева, доставшего для него гравюры с изображением Тальони в "Сильфиде".

Анфертьев приносил Ермилову безделушки, связанные с балетным миром, он даже обещал Ермилову достать туфлю Тальони, хранящуюся у одного старичка.

– Эй выпоротый! – раздался окрик и смех, – кого сегодня на хохму взял?

Анфертьев от неожиданности остановился. Он узнал голос торговца рваными галошами. Казалось, все торговцы и торговки насто-

рожились.

Чувствуя, что на него смотрят, и что сейчас его недруг все расскажет и его опозорит, что даже это мерзкое общество будет смеяться над ним, Анфертьев, не оборачиваясь, скрылся в толпе торгующих с рук.

Деловое настроение было прервано.

Хотя утром он опохмелился, все же снова начало сосать у него под ложечкой.

Он бродил по рынку, улыбаясь: вспоминал, как его красные насильно мобилизовали, как белые, взяв его в плен, выпороли за то, что он, будучи офицером, служил у красных, как затем красные, победив, его чуть не расстреляли за то, что он служил у белых в качестве переводчика, как англичане удрали, оставив его на произвол судьбы, и как затем он полюбил свободную жизнь, в которой собственно, он чувствовал, никакой свободы не было.

Продав ботинки, подсчитал Анфертьев деньги и снова запил Слоняясь по улицам, запел во все горло:

Ночи безумные, ночи веселые
Вновь ароматом полны,
Вот и звезда зажглась одинокая,
Чудятся ласки твои.

Он останавливался и бормотал: „скучно мне, скучно мне”. Садился на ступеньки под аркадами Александровского рынка, в чем-то убеждал себя, пил водку и заедал воблой.

Проведя лихо время на островах с доступными ему женщинами, Анфертьев снова оказался без копейки. Голова ужасно болела, сердце работало крайне медленно, опохмелиться было необходимо.

Еле-еле добрался Анфертьев до главного проспекта, снял с себя рваный пиджак, расстелил его с пьяной аккуратностью не панели, стал на колени, положил перед собой свою серую подушку-кепку и застыл с обнаженной головой. Так стоял он довольно долго, Кое-какой капитал начинал образовываться в его кепке. Анфертьев следил за ростом своего капитала, прикидывая в уме, скоро ли хватит на бутылочку. Время от времени он незаметным движением вылавливал часть серебрушек и медяков и опускал их в карман, часть оставлял в виде приманки. Наконец он поднялся, надел кепку и пиджак и вошел в кооператив.

Тут же под воротами он осушил мерку.

– Все в порядке,– сказал он.

Стало легче и даже почти радостно. Но к торговле приступать было рановато. Оставшийся капитал был невелик. Анфертьев снова опустился у водопроводной трубы. Стоя на коленях, он стал раздумы-

вать о торговле.

– Сейчас Локонову нужны сны лирические, – думал Анфертьев, – но со временем ему могут понадобиться сны фантасмагорические, – если его любовь окажется неудачной – с горами, пропастями, опасными для жизни мостами, с невиданными, ослепительно белыми городами. Затем, возможно, ему понадобятся сны о мировой войне, сны политические, о революции и о пятилетке, но сейчас нужны ему лирические сне, сны о возвышенной любви.

Пьянице хотелось помочь молодому человеку. Анфертьев вспомнил свою молодость, и так грустно ему стало, что он смахнул слезу и стал думать о другом: "Вот девушка видит сон: ей кажется, что она трамвай, она едет и звенит, ей очень весело, она чувствует, что наполнена людьми". Хороший сон, очень хороший сон, – подумал Анфертьев, – может быть она, милая, была беременна и страдала, а вот во сне получила облегчение".

Прохожие бросали медяки в кепку Анфертьева.

Вечером преподаватель голландского языка проходил по Кабинетской улице. На углу он заметил коленопреклоненную фигуру. Коленопреклоненная фигура кланялась прохожим и что-то бормотала. Систематизатор подошел ближе, желая расслышать слова. Стоящий на коленях Анфертьев, бормотал и кланялся, кланялся и бормотал:

– Помогите кулаку раскулаченному.

Анфертьев, заметив Жулонбина, прекратил бормотание, поднялся и исчез в тумане.

Придя домой и пересчитывая гроши, Анфертьев не мог понять, как люди могут нуждаться. Вот он, например, нет у него денег, опустится на колени на улице, снимет шапку, протянет руку, – и дают. Постоишь часа четыре и соберешь.

Иногда Анфертьев поступал иначе, он любил разнообразие:

– И иначе можно заработать деньги, встать на рынке и запеть. На рынке голос иметь не важно. Тоже подают.

Частник изучал своих покупателей, догадывался об их потребностях, все более и более он расширял ассортимент своих товаров, открывал все новые воображаемые магазины. Это было похоже на азартную игру. Торговля увлекала косоглазого человека.

– Я сегодня открыл новый магазин, – сказал Локонову Анфертьев. – У меня большой выбор уличных песен, если услышите, что кому-нибудь из ваших знакомых они нужны – прошу вас порекомендовать меня.

– Но ведь они никому не нужны, – возразил Локонов.

– Я знаю, многие молодые люди, чтобы развлечь общество, читают вслух эти песни. Это простое средство стать занимательным чело-

веком, это куда тоньше, чем анекдоты. Я уверен, что этот товар пойдет, – ответил Анфертьев.

– Хорошо, я припомню, – повторил клиент и отошел, закрыв лицо руками, к окошку.

Анфертьев заметил, что клиент его расстроен.

– Любили ли вы когда-нибудь, Анфертьев, – оборачиваясь спросил Локонов.

Анфертьев понимал, что Локонова совершенно не интересует любил ли он, Анфертьев, или нет, что это просто движение души.

Торговец стал думать, какие теперь потребности появятся у покупателя.

– Ему теперь не до снов, – думал он.

Анфертьев не хотел терять покупателя.

ГЛАВА 4

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ

Локонов следил издали за своей любовью. Она шла под руку с незнакомым ему человеком. Видно было, что они идут дружно, в ногу. Локонов чувствовал, что они идут, как спешащие и радующиеся всему молодожены, но он не мог оторваться от них и не идти за ними. Локонов шел за ними следом. Все же сомневаясь и ругая себя за переизбыток фантазии.

Он сжимал кулаки и был зол на себя за то, что он преследует их, но остановиться у него не хватало воли.

– Это нечестно, – убеждал он себя. – Я ведь не маньяк, не сумасшедший, чтобы преследовать девушку, не желающую иметь со мной ничего общего. Я должен отстать от них.

Но он все шел и шел за спешащей, весело болтающей, радостной парой. Его соперник был юн, и, очевидно, о чем-то интересном рассказывал, потому что любовь Локонова хохотала. Они останавливались у витрин магазинов и, рассматривая товары, о чем-то беседовали.

– Острят, – с тоскою подумал Локонов.

Ему неприятно было, что с другим его любви весело.

Наконец, пара скрылась в подъезде какого-то дома.

Локонов видел, что незнакомец пропустил ее вперед, а сам последовал за нею.

Локонов остановился, отошел на угол и стал ждать.

Он ждал долго, до боли в ногах, но пара не появлялась.

Чтобы как-нибудь скоротать время, Локонов стал считать. Он досчитал до тысячи, делая к концу все большие и большие паузы, а скрывшиеся не показывались.

Постоял, постоял Локонов, и принялся считать до десяти тысяч.

Он устал считать, а они все не появлялись. Дворник запер ворота и Локонов снова принялся считать.

Дом был какой-то удивительный, зеленый, облупленный, с выступающими на улицу фигурами, с пышным подъездом, с нависающими балкончиками, с удивительно узенькими окнами, с чрезвычайно изогнутой крышей, с газовыми фонарями на извилистых стеблях.

Дом был сдавлен с боков многоэтажными домами без всякой архитектуры, домами, состоявшими сплошь из надстроек, тоже облупленными. Первые этажи этих домов были построены в начале прошлого столетия, а последующие добавлялись по мере роста благосостояния владельцев или по случаю перехода в другие руки.

Переулок был узок, хотя находился в центральной части города,

казался забытым, тротуары были чрезвычайно узки и поломаны.

Локонов вообще любил рассматривать архитектуру домов, но такого дома он не встречал в своих частых и одиноких блужданиях.

Этот дом не упоминался ни в книге Курбатова, ни в изящных изданиях предреволюционных лет. Также о нем не упоминалось и в послереволюционных изданиях. Этот дом относился к презираемой всеми архитектурной эпохе, не достаточно отошедшей, чтоб к ней могли отнестись беспристрастно. Это было здание возникшее в эпоху постройки доходных домов, когда считалось, что постройка дома является наиболее выгодным вложением капитала, когда нотариусы, лакеи, официанты копили деньгу с надеждой построить дом и таким образом упрочить свое благосостояние и добиться богатства. Этот витиеватый дом в четыре этажа казался какой-то дикой фантазией, и было чрезвычайно странно, что он построен именно здесь, в этом доходном переулке.

– Который теперь может быть час, – подумал Локонов, – и снова стал считать.

На широкой улице, видной из переулка, исчезли последние прохожие, смолкли звонки трамваев.

Локонов перестал занимать свой мозг цифрами. Он понимал, что ему необходимо уйти, что стоять нечестно, что он унижает себя. Наконец, он нашел в себе достаточно силы воли, повернулся и пошел. Но в это время скрипнули ворота. Локонов почувствовал, как учащенно забилось его сердце. Он обернулся. Медленно вышла из-под ворот пара. Видя, что деться некуда, Локонов стал за фигуру. Ему показалось, что любовь узнала его и удвоила шаг. Локонову хотелось бежать за ней и объяснить ей, что он попал сюда случайно, что он не думал ее преследовать, что это очень печальное недоразумение, но он понимал, что она ему все равно не поверит.

Захотелось сновидений оскорбившему себя человеку. Пошел он утром к Анфертьеву, но торгаша в это время не было дома. Уже собирался уходить Локонов, когда повстречался с возвращающимся под хмельком Анфертьевым. Высокие идеи одолевали Анфертьева, он мечтал стать поставщиком госучреждения.

– Ведь вот, существует институт мозга, – сказал Анфертьев, обрадовавшись, что нашел собеседника, – Ему несомненно сны нужны, но как связаться с ним? Вот я и не подумал.

Площадка была узенькая, от Анфертьева неприятно пахло винным перегаром и винегретом. Локонову некуда было деться.

– Будет ли государственное учреждение покупать у меня сны? Между тем мой товар ценен, не вам об этом говорить. Ведь если б до нас дошли сны времен французской революции, сны бабефовцев, сны якобинцев, сны времен директории и времен Парижской Коммуны, какой бы это был ценный вклад в бытовую историю революции, – так

сказал бы я. – Я вас понимаю, Анфертьев пьяно развел руками и поник, – ответил мне директор, но ведь сметой подобные расходы не предусмотрены. Заключение подобной торговой сделки с частным лицом, действительно, может показаться инспектирующим органам сновидением. Но, между нами говоря, ваше предложение мне кажется ценным. Конечно, советую вам представить не проект с предложением торговой сделки, а просто предложить свои услуги по собиранию снов, может какое-нибудь ежемесячное вознаграждение мы вам и выкроим, может быть мы для приличия придумаем вам какую-нибудь должность. Во всяком случае не теряйте с нами связи.

Анфертьев держал Локонова за пуговицу и не отпускал. Ему хотелось побеседовать и высказать свои сомнения.

– А, может быть, там мне и этого не предложат. Ведь могут не предложить? У нас есть достаточно аспирантов, скажут они мне. Да ведь это все не то, – тщетно буду говорить я. Куда вы? – спросил Анфертьев Локонова.

– Я вас провожу, – догнал Анфертьев спешащего Локонова. – Вы куда направляетесь?

– Да я просто в саду посижу, – ответил Локонов.

– Посидим вместе, – предложил Анфертьев, – я для вас лирические сны купил.

Локонов молчал. Ему сейчас не очень-то хотелось снов. Ему только казалось, что он за сновиденьями идет к Анфертьеву.

В сквере сидел статистик, бывший преподаватель пластики Завитков, курил и скучал после ссоры с тещей.

Локонов хотел прошмыгнуть, но Анфертьев подошел к Завиткову. Пришлось и Локонову поздороваться.

– Вот я видел какой сон, – сказал Завитков Локонову.– Стою я на мосту, солнце со всех сторон. И спереди и с боков летают аэропланы в виде золотых рыбок. Весь воздух наполнен ими. Все аэропланы пропадают, остается одна золотая рыбка. У нее испортился мотор. Она лежит на мосту и задерживает движение. Открывает пасть, как рыба, когда засыпает. Из ее пасти вылезает, выходит совершенно нагая девушка, берет меня под руку и говорит:

– У меня есть билет на "Руслана и Людмилу".

– Тут сон прерывается, не понять, что дальше было, – продолжал Завитков, – опять я стою и опять летают рыбы. Тут должна быть рыба, в которой эта девушка находится – решаю я – начинает одна рыба опускаться, я бегу к ней, думаю, в ней эта девушка, но в это время падает другой аэроплан. Подбегаю, думаю, в нем она. Падают и падают аэропланы. Я бегаю от одного к другому.

Слова Завиткова прервала тут же сидевшая и следившая за ребенком престарелая няня.

– Экие ты сны, баловень, видишь, – сказала она, – это не сон, а

прямо срамота. Вот я тебе расскажу сон, хороший сон. У меня ведь сын на войне погиб. Пошла я в церковь Владимирскую, помолилась Николаю Чудотворцу. "Скажи мне Николай Чудотворец," – говорю я ему, –"где мой сын"?

– Пришел ко мне ночью мой сын и говорит:

– "Я живу далеко."

– "Скажи", – говорю я, – "живой ты или мертвый"?

– "Только тело мое пулей убили, а душа жива, Все мы тут живые, мертвых нет".

– Худенький такой, тощий.

– "Чего ты ешь, как ты живешь"? – спрашиваю я.

– "Да я сыт..."

– Махнул рукой и убежал от меня.

– Эх, ты, – подумал Анфертьев, – я бы его продал. Ничего, я еще эту старушку порастрясу.

Няня взяла девочку и собралась уходить.

– Много ли снов, бабушка, видишь? – спросил Анфертьев, идя рядом со старушкой.

– Ой, родимый, да почти каждый день сны вижу. У меня сны хорошие, очень хорошие!

– Да ты, бабушка, мне их расскажи. Зачем ты там на скамейке при всех рассказала. Они тебе за них ничего не дадут, а я тебе по пятачку за каждый сон платить буду. Покупать буду.

Деревья шумели.

Анфертьев, няня и девочка в ватном пальто были уже за чугунной калиткой. Они шли мимо Михайловского замка.

– Нешто сны можно продавать?

– Почему же не продать, если покупатель есть, – ответил Анфертьев.

– А тебе на что они, сны-то, – спросила старушка, – ты дороже что ли их кому продашь? Я что-то про такую торговлю не слыхала.

– Мало ли, бабушка, чего ты не слыхала, – ответил Анфертьев. – Сон такой же товар, как все: только надо иметь покупателя!

– Отступись! – сказала старушка.

– Держу пари, что вы не знаете, кто такой Жулонбин, – задерживая Локонова, сказал Завитков. – Говорил ли он вам, что он новый Казанова? Он ведь еще гимназистом побывал в Египте и Индии, его отец в свое время был известный директор акционерного общества "Самоход". Карманные деньги, получаемые от родителей, он не тратил на сладости, на оловянных солдатиков, кинематограф, а копил и зашивал в специальные мешочки. К пятнадцати годам у него уже было около пятнадцати тысяч золотом. Читал он авантюрные романы о кладах и хотел стать морским разбойником, иногда повяжет голову поло-

тенцем и стоит перед зеркалом – похож он или нет на пенителя моря. В Сестрорецке мечтал он и о необитаемых островах, куда можно будет складывать добычу, о спасении благородных испанок и о рыцарственном с ними обхождении. Потом французская революция его поразила. Так может быть и у нас – стал говорить он мне, и с еще большим азартом принялся копить золото.

– Вот родители обнищают, – предугадывал он, – а я буду богат и по дешевке черт знает каких ценных вещей сумею накупить, а потом после возвращения старого режима, снова обменяю на золото и стану богатейшим человеком... Мальчиком он стал изучать руководства для любителей редких вещей, посещать музей в сопровождении англичанки, чтоб при покупке не ошибиться, он изучал камеи, майолику,фарфор, медали, монеты, картины. Посещал аукционы, готовился к деятельности. Он ждал наступления революции с нетерпением.

– Революция должна наступить, – говорил он, – это совершенно ясно. Довольно – сто лет пожила Европа спокойно, хватит. Четвертое сословие выступает на арену. Совершенно неизвестно, почему оно должно жить, как скотина. В гимназии его считали красным. Он стал превосходным знатоком французской революции и погрузился в изучение экономических наук. Семнадцати лет плюнул на свое детское накопление. Стал транжирить золото направо и налево. С француженками в фотоминиатюрах стал знакомство завязывать, с кассиршами в кинотеатрах, на лихачах ездить, самозванно студенческую форму носить, поить их белым вином и выдавать себя за графа. Был своим человеком в Луна-парке – борьбу любил.

– Но как же он дошел до такой жизни? – из вежливости прервал Завиткова Локонов.

– Свихнулся, должно быть, – ответил Завитков, – а может просто распустил себя.

* * *

Не в духе вернулся домой Анфертьев после неудачного найма работницы.

* * *

Сумерки сгущались все более и более. Девушка зажгла электричество. Локонов был одет более чем бедно. С самой нежной заботливостью он охранял свой, пришедший в явную негодность, костюм. Как с драгоценным, хрупким предметом обращался он со своими заплатанными и сильно поредевшими брюками. Локонов тщательно избегал резких движений.

Локонов тщетно пытался завязать разговор о зеленом доме и о

молодом человеке.

Из окон открывался вид на луну и звезды, на волны крыш и радиомачт. Внизу протекал пустой переулок, впадавший в переделанную из канала улицу. Дальше стояло огромное здание – Дом Культуры и памятник Ленина указывал на него. Позади Ленина был разбит сквер. За сквером возвышалась фабрика-кухня, направо лежал недавно построенный рабочий городок, налево – серенькая деревня.

– Должно быть тогда, в ту ночь, она моего преследования не заметила, иначе она не была бы так спокойна, – подумал Локонов.

– Не разрубить ли сразу гордиев узел, не начать ли так: знаете ли вы самое безвкусное здание в Ленинграде – зеленое с голубыми воротами, построенное в глупом стиле второй империи, витиеватое, как торт из крема... – Но вдруг тогда все знакомство внезапно оборвется. Вдруг Юленька встанет и в негодовании укажет ему на дверь... Нет, это невозможно – тогда снова мрак, никакой цели жизни. Уж лучше неизвестность... Или вдруг скажет: там живет мой жених, или что-либо еще более ужасное скажет, ведь юность доверчива и откровенна.

Локонов дожил до тридцати пяти лет и еще не испытал первой любви. У него не было воспоминаний о первой встрече, о запоминающихся на всю жизнь прогулках, о беспокойстве, о взаимных подарках, о неожиданных восторгах возникающих по поводу самых простых слов, сказанных самым простым голосом. Все тогда многозначительно и многозначно для влюбленного. Тысячи смыслов лучатся из слов, природа наполняется содержанием и становится заметной. Зори и закаты, которые до этого были глупые и потом снова станут глупыми, доставляют невыразимое наслаждение. Внешний мир приобретает рельефность.

Локонову страшно было потерять открывающийся перед ним мир. Ему хотелось, как восемнадцатилетнему влюбленному, просить у Юленьки локон на память, глядеть в ее глаза, взять ее руки и целовать ладони, хотелось, чтобы она гладила его по голове, но тут он вспомнил, что он почти лысый. Он увидел себя посторонними глазами, у него сжалось сердце. Он встал и взял руку Юленьки и нежно поцеловал.

– Куда вы? Как ваша служба? – уже на пороге комнаты спросила Юленька.

– Да, ничего, – ответил Локонов.

Жил Локонов на жалованье своей матушки, служившей сестрой милосердия, несмотря на то, что ему минуло 35 лет, жил на положении несовершеннолетнего. Так как он понимал, что это не совсем хорошо, то говорил знакомым, что он служит агентом по транспорту, что эта служба тем хороша, что когда ему хочется, он может быть свободен. Он по вечерам довольно часто уходил из дома, говоря, что идет на заседание или на собрание.

– Куда ты идешь, сыночек – спрашивает мать.

– Я иду на заседание, – отвечает Локонов.

– Смотри, не возвращайся поздно, – уговаривает мать.

– Это очень важное заседание, и я вернусь поздно, – твердо отвечает Локонов.

Но, выйдя на улицу и рассматривая номера трамваев, он задумывался.

– Нет, не стоит ехать к Кузору, – думал он, – поеду я лучше к Жулонбину. Да вот и трамвай восемнадцатый идет, а двадцать третьего жди – не дождешься.

Вместо того, чтоб сесть на двадцать третий и поехать к Кузору, как было условлено, он садился на восемнадцатый и ехал в противоположную сторону. Мать рассказывала в это время зашедшим побеседовать знакомым, как занят ее сын. Она была довольна, что ее любимый сын все заработанные деньги тратит на себя, на театры, кинематографы, концерты. Гостья в прическе балкончиком сочувственно кивала головой и жевала воздух вставной челюстью.

– Все же вы живете ничего, – говорила гостья, – другие живут похуже.

Война прошла, а мать Локонова осталась сестрой. По-прежнему она находила, что к ней ужасно идет белая косынка. В холод и зной попрежнему Марью Львовну можно было видеть в этой косынке бодро шагающей по улицам, стоящей в очередях и судачащей. Ничего что она стала подслеповата и глуховата, ей казалось, что произношение у нее английское. То, это исчезли люди, в которых было все английское, вызывало в Марье Львовне неясную тоску, как если бы исчезло все прекрасное в жизни. Она вспомнила безукоризненные проборы, с иголочки френчи, сладковатый запах английского трубочного табаку.

Близилась новогодняя ночь.

Чтоб провести новогоднюю ночь как люди, престарелая сестра милосердия потащила в комиссионный магазин огромную картину в золотой с зелеными извивающимся незабудками рамке. Картину эту сестра милосердия очень любила и ей жалко было расстаться с нею. По берегу моря идет сильная женщина в венке из красивых роз, с руками, полными красных маков, а за нею – вереница мужчин, скованных цепями.

Локонов не застал своей любви дома. Ему стало грустно. Ему показалось, что предчувствие его сбывается, что несомненно она пошла опять в тот зеленый дом.

Он вышел из дома, где жила его любовь, и остановился у подъезда. Идти было некуда. В душе было пусто, ее надо было чем-то наполнить. Он стал разглядывать улицу.

Дом, около которого он остановился, находился недалеко от

дико окрашенного вокзала. Окрашенные голубой краской павильонообразные выступы резали глаз. Локонов решил осмотреть город. Обманывая себя, он шел вниз к проспекту 25 Октября, стараясь погрузить себя в город. Он нарочно останавливался перед отдельными домами, разглядывал, как они выкрашены, пытался сделать общие выводы, но это ему не удавалось.

Перейдя Проспект 25 Октября, он понял, что все-равно, как бы он не отгонял себя от зеленого дома с фигурами, но подойдет к нему, что все равно он окажется сегодня перед этим домом, что этот дом крайне интересует его, что отделаться от подозрения, что его любовь именно там, он никак не может.

И действительно, когда он, поддавшись своей страсти, уже подходил к дому, из ворот, слегка покачиваясь, как бы опьяневшая, вышла его любовь, держа сверток под мышкой. Потрясенный Локонов скрылся. Его воображению рисовалась богато убранная комната с прекрасным диваном. Высокий ковер устилал пол этой комнаты, окантованные гравюры Ватто или Моро украшали стены, оклееные матовыми обоями. На столике блестели вина и разноцветная закуска.

Сейчас молодой человек стоял у окна и удовлетворенно насвистывал.

"Должно быть он специалист, – подумал Локонов, – наверное, он хорошо зарабатывает, любит старинные гравюры, собирает редкие книги и слоновую кость, и ему ничего не стоит увлечь девушку. Его комната должно быть сейчас наполнена дымом экспортных папирос. У него, наверное, брюки с безукоризненной складкой.

Локонов посмотрел на свои брюки, они висели, как тряпицы.

– У меня нет ни гроша, и я не могу пригласить ее к себе угостить вином и поговорить об освобождении всего мира, а ей семнадцать лет и она идеалистка.

Локонов не знал, куда ему деться.

Продав башмачки, проведя время на острове, движимый сочувствием к семейству Жулонбина, Анфертьев пришел с систематизатору, принес цветок его жене, посадил дочь Жулонбина к себе на колени и стал угощать конфетками.

Анфертьеф гладил ее по голове и целовал в темечко.

– Вот, вырастешь, – думал он, – и черт знает, что из тебя выйдет.

То, что его высекли, было для Анфертьева убийственной драмой, перевернувшей все его, тогда еще юное и неокрепшее существо. Позор, испытанный им, навсегда исказил его мысль, вложил в душу отвращение ко всему в мире.

Оптимист, превратившийся в пессимиста, всегда убежден, что он больше знает и правильнее чувствует оптимиста. С годами боль как бы утихает и появляется даже гордость, что я, вот, знаю, истинное лицо

мира, а другие не знают.

Анфетьев старался не вспоминать тех мгновений после выхода из тюрьмы, когда он почувствовал, что он уж не будет цельной натурой.

Пьяный Анфертьев, гладя дочь Жулонбина по головке, сравнивал себя с девочкой.

– А я видела Мишку! – сказала девочка.

– Какого Мишку, – удивился Анфертьев.

Анфертьев вспомнил медведя с деревянной тарелкой, которого он в детстве очень любил, но все заслонила комната его матери: "коза" большой двухспальный матрас, покрытый шкурами белых коз с множеством вышитых подушек, на котором любила лежать его мать и читать д'Аннунцио; стоящий у окна рояль, вазы фаянсовые и глиняные, весной они наполнялись оранжерейными цветами, поднесенными во время спектакля поклонниками, летом – полевыми ромашками, собранными домочадцами. Анфертьев вспомнил, что в эту комнату его пускали неохотно, что там вечно пили чай, то кто-то декламировал, то кто-нибудь играл на рояле, то мать его пела одна или с молодым человеком, иногда в коридор выносилась мебель и какие-то тети босиком в коротеньких рубашечках бегали под музыку, размахивая руками, и валялись по полу.

Покинув Жулонбина, Анфертьев шел по улице к дому своего детства, наполненному пением, музыкой, запахом цветов, голосом его матери. Он подошел к зеленому зданию и остановился в нерешительности. Свет горел во втором этаже; три крайних окна как раз были освещены. Дворник стоял у ворот и, повидимому, скучал.

– Нет ли спички, – обратился к нему Анфертьев, – хочешь закури Сафо.

Дворник вынул спички и взял папироску.

– Что же это дом-то не красят? – спросил Анфертьев, весь город нынче красят, а про ваш-то и забыли. Неужели таким облупленным и останется?

– Ничего, попрыскают, – ответил дворник.

– Помню, бывал я в этом доме, – сказал Анфертьев, – большие были квартиры, богатые. Много доходу прежнему владельцу этот дом приносил. Направо жили вот там итальянская певица и присяжный поверенный, масса народу к ним шлялось.

– Да, теперь там инженер помещается, специалист! Жрет так что просто чертям тошно. Тоже народ к нему шляется. Одно беспокойство. . .

. . . – Что ж он, изобретатель? – спросил Анфертьев.

– Изобретатель! . . .Какой изобретатель. . .

Дворник, затянувшись, с досадой бросил папиросу.

– Всех он нас замучил, спокою нет. Только заснешь – звонок. . . ворота отпирай.

– Просит, вы, Иван Сергеевич, мне все, что говорят в доме о еде, передавайте. Каждую неделю меня призывает и выпытывает.

– Неужели? – спросил Анфертьев.

– Интересуется едой очень. . . а чего ей интересоваться – зажмурился и ешь. Картинки от карамели собирает. Раз даже мне показывал: "Иван Сергеич, какие вам нравятся? – говорит – "Психологию рабочего класса изучаю". На выпивку в благодарность дал.

Раз я ему угодил – принес картинки от спичечных коробков, должно быть, девочка какая-нибудь в тетрадку эти картинки наклеила. Нашел я эту тетрадку там, в № 14 при переезде. Я ему и отнес – говорю – может, такими картинками поинтересуетесь? Взял, благодарил и при мне кому-то по телефону звонил.

Анфертьев вспомнил просьбу Жулонбина, но какое-то изнеможение напало на него.

– Так, – сказал он и задумался.

Открылась форточка, высунулась голова в красном платке и раздался бабий голос:

– Эй, Ваня, инженер просит дров принести.

– Ладно, – ответил дворник и пошел.

Испытывая изнеможение и робость, постоял Анфертьев перед парадной дверью, покачался.

–Нагрянуть надо. . . Сейчас не могу. . . Сейчас самое главное – выпить. Только бы не забыть. Надо для памяти знак оставить, – подумал Анфертьев.

Он долго шарил в карманах, наконец, вынул огрызок карандаша и клочек бумаги и дрожащей рукой, скрипя зубами, с невероятным трудом вывел адрес инженера и еще какие-то слова для памяти. Вздохнул и, покачиваясь, с головой, опущенной на грудь, со слезами на глазах, все время вздыхая, удалился.

Сознание Локонова заполнил воображаемый специалист.

" – Вот сейчас, когда я ем картошку, – думал Локонов, – специалист там, в зеленом доме, ест итальянскую полендвицу или читает Петрарку, или может быть, наслаждается изданиями "Академии". Наверно, он женолюбив и его посещают всевозможные создания, а он, душистый, одетый во все заграничное, угощает и возвышенно шутит. Вечером он идет на балет или в оперу, или встречается с иностранцами и сияющими глазами смотрит на мир. Жизнь его похожа на тысячу и одну ночь. Конечно ему сновидений не надо. Мне же неприспособленному и чувствующему, что мир ужасен, сновидения необходимы. . . Что я могу предложить моей возлюбленной, продолжал раздумывать Локонов, – какое палаццо, какими редкостями развлечь, с какими иностранцами познакомить? Сплетни, пересуды, стояние у примуса – вот вся ее будущая жизнь, если она свяжет свою судьбу с моей. Я не обладаю никакой общей идеей, меня уже ничто не интересует. И вот

сейчас мой соперник быть может рассказывает ей о своем кругосветном путешествии, О Лондоне, Париже, Генуе и Константинополе и показывает снимки, вот там я был, вот тут на эту гору я взбирался.

А она сидит и смотрит на него восторженными глазами и быть может раздается звонок и входит негр и говорит о жизни в Гарлеме или появляется японец и рассказывает о том, что в Японии Чехова любят, или американец, проживший двенадцать лет на Филипинах, делится своими впечатлениями. Правда, и у меня есть знакомые, путешествовавшие по Западу, но это все мрачные, в лучшем случае пожилые фигуры.

Локонов вспомнил согбенную восьмидесятидвухлетнюю, одетую во все черное вдову тайного советника. Представил ее комнату с сладковатым запахом, огромный портрет в розовоголубых тонах молодой шестнадцатилетней девушки в кринолине и под ним почти не видящую и не слышащую, суетливо бегающую старушку задыхающуюся, с почти обнаженными, все время двигающимися челюстями.

— Венеция мрачна, — говорит она, — лодки, эти гондольеры все в черном. У них маленькие фигаро — куртки, маленькие круглые суконные шляпы. На меня это ужасно действовало. Все черное, — все — вода и дома на четверть в воде стоят и все внизу мохом покрыто. Мы приехали в город. Все узенькие улицы, на рынке воняет ужасно сыром, лошадей мы не видели совсем. В соборе святого Марка внутри очень темно, конечно наши мужья пошли осматривать — где инквизиция, — говорит она, задыхаясь, через мост, кто прошел к смертной казни назначен. Они пошли осматривать инструменты. Вечером на площади святого Марка поют и кушают и оркестр играет, но все довольно молча. Все в городе тихо, серьезно. О, эта церковь святого Марка, очень большая, вроде нашего Казанского собора. Тишина, неуютно очень в церкви самой.

Локонов подумал, что от подобного описания путешествия его любовь, пожалуй, сбежит.

Но и другой, много путешествовавший на своем веку старый доктор, вряд ли мог удовлетворить любопытство семнадцатилетней девушки.

Опять он начнет рассказывать о Вене, о старой доброй Вене, расскажет о Венеции в Вене, скажет: парки там, каналы, гондолы. А вокруг фасады домов из досок, мосты с полицейскими в итальянской форме. Опять расскажет он, как будучи студентом, загулял до семи часов утра в ночном кабаре, как подговорил вместе с другими студентами тиролек в тирольских костюмах и удовлетворенно будет сиять и говорить о том, что это время прошло, что увы теперь так не живут!

Или какая-нибудь подруга матери вспомнит Наугейм и скажет ”там все розы, розы без конца”.

Локонов сидел, забыв о своей картошке.

– Что ж ты не ешь, сыночек? – спросила мать. – Ты что-то бледен очень, ты волнуешься. Хочешь, прими валерьяновых капель с ландышами? Вот, ты не хочешь со мной поговорить, а я весь день одна, не с кем поговорить. . . Сегодня тепло или холодно на улице? С утра было ясно, а теперь дождь идет. Что ж ты не отвечаешь? Даже и поговорить со мной не хочешь. Я тебя ведь очень люблю.

Локонов стал есть картошку.

Наступила новогодняя ночь.

Локонов стоял на мосту.

Мать его мысленно перебирала все новогодние встречи. Они проходили разно, но всегда в чьем-либо обществе. Только раз, лет тридцать тому назад, она также, как в этом году, встретила новый год в одиночестве.

" – Но тогда я была такая хрупкая, нежная и совсем юная" подумала она с грустью.

Марья Львовна взяла зеркало для бритья и стала рассматривать свое лицо.

– Ну что ж, это ничего, что мне скучно, зато Толе весело. Он среди молодежи, за ним ухаживают. Он сейчас шутит, произносит тосты, а потом, наверное, будут танцы, игры в фанты, в прятки, в жмурки. Хорошо бы было, если б у него оказалась самая интересная барышня.

Марья Львовна стала вспоминать фигуры танцев. Ей захотелось музыки. Она подошла к радио, но радио было испорчено.

Тогда она села за пианино, ударила по клавишам и запела почти шопотом – она боялась услышать свое пение, ведь уже давно она громко не поет. Ее коротенькая юбочка цвета шампанского желтым пятном выделялась в полумраке. Марья Львовна напевала:

В тиши ночи
Я жду тебя,
Тоскуя и любя,
Ты ангел чистый предо мной,
Люблю одну тебя.
Огнями полон гулкий зал,
Вокруг духи, цветы.
Тебя в толпе я отыскал,
Оркестр галоп играл.
Но вот другому отдана
Твоя рука,
И злая ждет меня судьба
Ночного игрока.
В Монако жизнь окончу я,
Где море так шумит,

И не узнаешь никогда,
Где юный труп зарыт.

Раздался звонок. Вспорхнула Марья Львовна. Ахнула. Это был ее сын.

– Что ж это ты. . .

Сын ничего не ответил.

Карточки солдатиков висели на стенах, стояли на этажерках. Солдатики были с георгиевскими крестами, медалями. Одни браво обнажали шашки, другие стояли как вкопанные, с руками по швам, третьи отдавали честь, четвертые сидели в соломенных креслах. Марья Львовна стояла позади кресел. В центре висел общий вид лазарета. Все здесь дышало войной. Модные романсы того времени лежали на пианино, книжки о германских зверствах стояли на полочках, а в альбоме для открыток были карточки королей, царей и президентов и каррикатуры на германцев, австрийцев и турок.

Имущество Марьи Львовны с точки зрения здравомыслящего человека не являлось богатством. Стопки фотографий, перевязанные, золотой, серебряной или цветной веревочкой, могли заинтересовать только какого-нибудь художника. Он за каждую из них заплатил бы, пожалуй, по гривеннику. Стопки приятно пахнущих писем могли бы пригодиться только какому-нибудь литератору, он охотно заплатил бы за них три копейки. Несколько закладочек в виде лент с вышитыми поздравлениями могли бы быть приняты только в бытовой музей, если б ему предложили даром. Пузырьки из-под лекарств и флаконы из-под духов, конечно, можно было бы продать в какую-нибудь аптеку. Свадебный букет старушки можно было бы, конечно, разобрать, засохшие, пахнущие духами розы выбросить в помойное ведро или сжечь в печке, а кружева и белую шелковую ленту продать на рынке. За детский локон сыночка Жулонбин, пожалуй, скрепя сердце дал бы копейку. Среди этого барахла хранилась кукла с турнюром. За эту куклу, охотно, бытовой музей дал бы червонец.

Марья Львовна была необычайно опрятна: два раза в день она мыла паркет в своей комнате, а в свои выходные дни мыла пол по праздничному, т.е. скребла его до полного изнеможения. Всегда, когда ей было делать нечего, она приводила комнату в порядок. Брала тряпку и начинала вытирать пыль, хотя бы и пыли никакой не было. Если ее что-либо расстраивало, она начинала подметать пол, если она нервничала, она обращала внимание на буфет и проводила тряпкой по дверцам, или смахивала несуществующую пыль с этажерочек или по рассеянности невозможно грязной тряпкой, вчера употребленной на вытирание галош, гнала крошки со стола в пепельницу, или, поднявшись на стул, вытирала любимую свою картину. Сбрасывала комья пыли с буфета на пол, а затем вновь запыленную комнату приводила

в порядок. Этим она могла заниматься часами.

Это занятие матери выводило Локонова из себя.

Неожиданно раздался оглушительный звонок. К Локонову ввалились Анфертьев и незнакомец.

Под стук ночной уборки незнакомец стал рассказывать:

– Жил при царизме купец Колоколов, мужчина во, что надо. Торговал он ценностями в Гостинном. Приходят к нему тверские купцы в поддевках с бородищами, просят показать им облачение тверского архиерея, – отца Гермогена, мол, по случаю рождения хотят они его отблагодарить. Колоколов показывает облачение дорогое, золоченое. Купцы в затруднении, мнениями обмениваются, как примерить. Надевает клобук. Нахлобучивают покупатели ему клобук. Обобрали ценности и дали стрекоча. Ребята были – рецидивисты, специалисты. Так. Подъезжает какой-то князь в расшитом мундире, в карете с гербами. Вылезает князь, рука не привящи. Низко кланяется Колоколов.

На днях день ангела княгини, я хочу ей колье подарить. Есть у вас что-нибудь хорошее?

– Пожалуйте, – низко кланяется Колоколов.

– Вот это колье, как будто. . . Да, пожалуй. Маша будет довольна. Как вы его цените?

– Двести тысяч, Ваша Светлость, – лебезит купец.

– Отложите для меня. Только денег у меня с собой нет, не захватил. Я сейчас пошлю за ними. Иван, я напишу, – говорит миляга лакею, а ты снесешь к княгине.

Берет миляга с конторки бланк Колоколова и просит хозяина написать – ведь князь не может, у него рука на привязи. "Дорогая Маруся, выдай подателю сего триста тысяч. Твой Петя."

– Иван, да побыстрее, – говорит покупатель, – да скажи княгине, что я к обеду буду.

Лакей вернулся и вручил деньги покупателю. Покупатель отсчитал двести тысяч и отдал купцу. Сто тысяч положил обратно в бумажник, взял колье, вышел и сел в карету. А купец вышел и в пояс кланяется.

– На что тебе, Петр Иваныч, нужны были триста тысяч? – спросила жена, когда Колоколов ввалился в переднюю.

– Какие триста тысяч, Маша? – побледнел купец. Князь-то был рецидивист-авантюрист.

– Меня-то не обворуешь, – подумал Анфертьев, – нечего у меня украсть, никто таким товаром, кроме меня, торговать не сможет.

– Этот Колоколов, – продолжал собеседник, – возьмет с собой половых из трактира, привезет их в ресторан и заставит тамошних официантов привезенным половым почтительно прислуживать.

Локонов пропустил рассказ пришедшего вместе с Анфертьевым

человека мимо ушей.

– А про заграничных промышленников анекдотов не знаете? -- спросил Анфертьев.

– Про заграничных ничего не знаю – ответил собеседник. Вот про Киргизию. . . в Киргизии я был пять лет тому назад.

Шорох в соседней комнате продолжался. Марья Львовна думала, отчего сын ее рано вернулся, отчего он ее не любит, отчего он с ней не хочет поговорить по душе, посоветоваться. Молчание сына ее обижало. Она все торопливей и торопливей проводила тряпкой по дверцам буфета, затем она принялась за уборку этажерки, стала снова вытирать сломанный спиртовой кофейник, начала перетирать свои девичьи книги и читать и перелистывать их, все время вытирая то корешок, то золотой обрез. Она сохранила книги только своей юности: французскую грамматику, однотомного Лермонтова, хрестоматию, томик стихов Пушкина, "Записки охотника", "Подарок Молодой Хозяйке".

Кончив неинтересный для Локонова рассказ о том, как киргизы ставят самовар, как они жуют табак и, рассказав о том, что там чай, в особенности плиточный в великой цене, так что за сто грамм плиточного чаю вам дают целого барана, гость, приведенный Анфертьевым, умолк и задумался.

– Грязны они очень, – помолчав, добавил он – и подумать не могут, что без вшей жить можно. Стоит девица лет семнадцати, юбки у нее широкие, поймает вшу в голове и на зубы. Стоит и сосет, затем шкурку выплевывает. Чорт возьми, придешь в пикет, пьешь чай, а они, черти, стоят в ряд и как бы еде способствуют. Раскрыл я рот, чтоб положить кусок сахару, и они, черти, все рот раскрыли. Закрыл я – и они закрыли. А другая девица начнет свою юбку качать, вентилировать, а ты тут чаи пьешь!

– Поди, стерва! – на своем языке закричит отец.

– Да, а я ведь к вам по делу, – обратился Анфертьев к Локонову. – Я к вам моего товарища привел, потому что очень спешил, думал у вас встретить Жулонбина.

Анфертьев врал. Он был пьян и поэтому привел с собой к Локонову незнакомца. Анфертьеву все время казалось, что он теряет покупателя, а между тем сновидений как раз за последний период у него скопилось порядочно. Кроме того мысль о девушке, в которую влюблен Локонов, мучила Анфертьева. Он предполагал, что, явившись врасплох, он может случайно застать эту девушку у Локонова. Анфертьеву показалось, что Локонов совсем ему не поверил, что он ожидал у него встретиться с Жулонбиным.

Анфертьеву показалось, что на прошлой неделе Локонов говорил, что Жулонбин пытался у него украсть тетрадку сновидений, и что больше он Жулонбина и на порог не пустит. Анфертьеву стало неприятно, что он солгал, а ему не поверили.

Анфертьев и его знакомый были совершенно пьяны, но стойко держались. Локонову хотелось отделаться от них.

Он подошел к окну.

– Какая дивная ночь, – сказал он, – не пройтись ли нам? Выйдемте вместе.

-- Он угощает, – подмигнул Локонову Анфертьев в сторону незнакомца. – Пройдемся, завернем куда-нибудь и побеседуем. Петя, вставай.

На улице гостей Локонова совсем развезло.

Они взяли Локонова под руки и повели.

Они повезли его по узеньким переулкам, по Фонтанке, опять по узенькой уличке, опять по переулкам и подвели к высокому дому.

– Я пойду домой, – сказал Локонов.

– Нет, уж, пойдемте с нами, с нами пойдемте!

Локонов чувствовал, что они пьяны и побоялся раздражить их. Кроме того, они его не отпускали.

Они держали его под руки и шатались.

Втроем они поднялись по лестнице, ввалились в квартиру, прошли по длинному, длинному коридору, ввергли Локонова в комнату, небольшую, с великолепной никелированной кроватью, с крохотным столиком, на котором лежали недоеденные килька и осетрина в консервной банке и стоял начатый литр водки.

Парень сидел на подоконнике и, аккомпанируя на балалайке пел:

. . . Из гроба встает император. . .

С Локонова сняли пальто и повесили на гвоздь.

Спутник Анфертьева поспешно налил ему стакан и сказал – Я сегодня купил баян, спрыснем. Целый год деньги копил.

Локонов с недоумением посмотрел на говорившего. Ему непонятно было, зачем Анфертьев привел его сюда. Он только понимал, что осушить этот стакан необходимо, иначе может этот парень чего доброго, его ударить.

Локонов осушил стакан.

Парень ему снова налил со словами:

– Ну, ну, пей.

– Вот так новогодняя ночь. . .” – подумал Локонов.

Анфертьев проснулся на берегу Байкала.

Как попал он сюда, он вспомнить никак не мог. Он помнил только, что, проводив Локонова домой, зашел в трактир.

– Должно быть опять ограбили,– подумал хладнокровно Анфертьев.

Он освидетельствовал свои карманы. К своему удивлению нашел в них двадцать рублей.

– В карты выиграл, что ли? – подумал он, только где? Как же меня отпустили с выигрышем?

Анфертьев стал вытряхивать карманы, не окажется ли там еще чего-либо. Он нашел пачку махорки. Свернул козью ножку. Закурил. Снова принялся исследовать карманы. Наконец, в кармане брюк он нашел тщательно сложенную бумажку. Он развернул ее.

"Инженер. . . . переулок Чехова, д. . . кв. . . . . покупатель мелочей. . . ."

Дальше разобрать было невозможно.

Он узнал свой почерк. Он попытался вспомнить, но вспомнить ничего не мог.

Пьяница любил рассказы о пьяницах. Медом не корми Анфертьева, а дай ему послушать рассказ о пьянице. Как известно, пороки, также как и добродетели, соединяют людей в корпорации. Такое негласное сообщество пьяниц существует в каждом городе. Верхним чутьем они узнают друг друга. Многие из них сидели в сумасшедшем доме и юмористически относились к себе – они понимают, что для них не существует ни любви, ни будущего. Они вспоминают о белой горячке, как о приятном состоянии духа, а о сумасшедшем доме, как о необыкновенно занимательном, полном неожиданных аттракционов цирке. Только сильная встряска могла взволновать их. Сидя на бережку опухшие, они слушали рассказ только что вернувшегося парня.

Анфертьев подошел и подсел к ним.

Опухший человек, неплохо одетый рассказывал. Время от времени берег оглашался хохотом.

– Так вот, – рассказывал человек – в какую я кунсткамеру попал. Для каждого отделения там отдельный сад: для сумасшедших один, для нервных другой, для белогорячечных третий. При мне прозводился ремонт перегородок. Санитар возьми и отлучись на минутку.

Вот увидите, я сейчас вас рассмешу, сказал один сумасшедший.

Плотник перегородку чинил.

Подмигнул нам сумасшедший, поднял топор и отрубил плотнику голову.

Взял голову и спрятал в кусты.

Нам говорит:

А ну-ка, пусть он теперь свою голову поищет!

– Ну ты, врал, врал, да и заврался – перебил его другой парень. – Совсем это не при тебе было. Это уже когда я был в сумасшедшем доме рассказывали, может быть, этот случай при царе Горохе произошел.

– Не хочешь – не слушай, а врать не мешай, – вставил свое слово старичек. Вот хотите, про графа Пушкина случай вам расскажу. Был граф Пушкин – известный остряк. Любил он людей пугать. Напьется и

обязательно идет людей пугать. Раз напился, пробрался в покойницкую, вынул из гробов замерзлых покойников, как мог усадил вокруг стола, каждому дал в руки по карте, мол, покойники воскресли и в карты играют. Устал что ли, лег в один из пустых гробов и уснул. Утром явились священники с причтом и народ. Видят – покойники в карты играют. И вдруг слышат.

Кукареку!

– Глядят – всем известный Пушкин из гроба вылезает.

– Что же дальше.

– Известно что.

Пушкина арестовали и отправили в психиатрическую больницу.

Слушал, слушал Анфертьев, от огорчения плюнул и пошел.

Пьяницы, иронически посмотрев ему вслед, продолжали пить и закусывать. Подошел милиционер и стал гнать их.

– Сейчас уйдем, – сказали они философски. Встали и пошли.

Анфертьев пошел к магазину Центроспирта.

Проходя мимо аптеки, он с удивлением заметил, что пальто на нем не его, а чужое.

Он махнул рукой.

– Все равно ненадолго. . .

И пошел дальше.

* * *

Анфертьев пошел по адресу.

– Эк. . . – подумал Анфертьев.

Поднялся по мраморной лестнице и позвонил.

– Извините, – сказал он открывшей дверь бледной старухе, нельзя ли инженера видеть?

–Пройдите в его комнату, – ответила старуха, – вот прямо потом направо, потом налево вторая дверь.

Анфертьев пошел по коридору и постучал в украшенную сиренообразной ручкой дубовую дверь. Комната с венецианского стекла окном, выходящим во двор, была тускло освещена. Спиной к двери, у письменного стола сидел лысый человек и работал. Поминутно он брал конфектные бумажки и раскладывал по ящичкам.

Тетрадка с картинками, отклеенными от спичечных коробков, лежала в стороне.

Над ней сидел другой лысый человек.

– Извините, я только на минуту, остановившись в дверях, сказал Анфертьев дрогнувшим голосом. Я слышал, вы собираете конфектные бумажки. Человек, сидевший спиной к дверям вздрогнул и поднялся.

– Здесь кто-то есть, – сказал он другому пожилому человеку.

– Да, сюда, кто-то вошел, – ответил тот и тоже встал.

– Извините, я слышал, вы собираете конфектные бумажки, – повторил Анфертьев и выступил из темноты. – Я Анфертьев.

– Очень приятно, Торопуло. А вот мой друг, Пуншевич. Чем могу служить?

– У меня есть большая коллекция конфектных бумажек, – прошептал Анфертьев.

Глаза Анфертьева, обежав комнату, остановились на письменном столе. Анфертьев заметил бюсты Пушкина, Гоголя и массу книг, мерцающих, как огоньки и какие-то темные картины. Ему показалось, что в комнате масса драгоценных вещей, что она наполнена спокойствием и солидностью.

– Присаживайтесь, – сказал Торопуло, – должно быть вы хотите вступить в наше общество?

– В какое общество? – спросил Анфертьев.

– В общество собирания и изучения мелочей. Ведь вам все известно?

– Не совсем так, – ответил Анфертьев, – я человек бедный, мне некогда собирать и изучать. Я продаю. Я хотел бы вам продать то, что вам, мне кажется, нужно. Мне показалось, что я вам могу быть полезен.

– Я не совсем понимаю, – сказал Торопуло.

– Видите ли, я торгую всем тем, что никому не нужно, – начал Анфертьев оживленно. То есть я не совсем точно выразился я торгую тем, что сейчас не имеет цены, а в будущем будет иметь огромную ценность. Я торгую сновидениями, я торгую конфектными бумажками, уличными песнями, воровским жаргоном, я всем торгую, что не имеет веса, и как будто не имеет никакой ценности в современности. У меня есть свой круг покупателей, они мне заказывают, и я достаю им все то, что почему-либо интересно для них. Вот для вас я могу доставать конфектные бумажки, спичечные коробки и вообще все, что вы пожелаете.

– Да вы сказочный человек, – сказал Торопуло. – А как вы узнали о нашем существовании? Да, мы все это собираем, но до собирания сновидений мы не додумались! Это идея, не правда ли? – обратился он к Пуншевичу.

Не стоит растекаться, – ответил Пуншевич.

– Я могу доставать сны и девушек, и старичков, и рабочих, и крестьян и интеллигенции о еде.

– Очень интересно! С вами нужно поддерживать связь. А может быть у вас уже есть сны о еде, сны, как-либо связанные с едой?

– А еще что вы продаете, что можете предложить? – с любопытством перебил Пуншевич. Нам нужны обертки от мыла, только знаете, не современные, современные мы сами достанем, а скажем, времен освобождения крестьян, или как-либо связанные с мировой

бойней.

– Здесь темно, – сказал Торопуло.

Комната осветилась. Анфертьев был ослеплен. Книги в любительских, мозаичных, тесненых нежнейших переплетах стояли на полках. Шелк и муар, шагрень и марокин, пергамент, похожий на слоновую кость – развлекали глаз. Бюсты великих писателей стояли на полках и по углам комнаты. Картины, зеркала, ковер с великолепно исполненными плодами, потолок со сценами охоты как бы увеличивали объем комнаты. Все это переливалось, отливало серебром, искрилось перламутром, сверкало полированным золотом, желтело и белело и, каким-то образом становилось нереальным.

Анфертьеву захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, сон это или действительность, может быть, действительно, во сне он нашел Торопуло, может быть в действитвельности инженера Торопуло и не существует.

– Снимите пальто, – сказал Торопуло, – мы сейчас закусим, выпьем и поговорим, как следует. Вы мне кажетесь весьма нужным для нас человеком.

Анфертьев отнекивался, ему было стыдно, что он почти без белья.

– мне еще хотелось спросить, – сказал Торопуло и поставил на стол миноги, сваренные в белом вине, – как вы дошли до мысли торговать сновидениями. Ведь это не всякому может придти в голову. Ведь нужно сталкиваться с какими-то людьми, чтобы дойти до такой, казалось бы, простой вещи. Сознайтесь, ваша жизнь носит отпечаток фантастики, даже не все поверят, что сны можно продавать.

– Жизнь проще, чем мы думаем, – пояснил Анфертьев, – сначала я продавал книги по квартирам, потом оказалось, что некоторые любят рукописные дневники, другие стали мне заказывать частные письма, знаете, ведь разные люди разным интересуются. Другие стали просить меня достать для них уличные песни. Некоторые интересовались воровским языком, тоже я для них подбирал на улице, на рынках в трактирах слова. А один молодой человек стал мне заказывать сновидения. Он почему-то ими интересовался. Вот почти и все. Фантастики, признаться, я как-то не чувствую, я, можно сказать, трезвый человек.

– Все же это, признаться, странно, сказал Пуншевич, – продавать сновидения. . . Это черт знает что! Да как же вы их добываете?

– Да тоже покупать приходиться. Не всегда, правда, но все же приходится, – ответил Анфертьев. – Иногда, конечно, даром достаются.

– Да сколько же вы на этом наживаете? – спросил бестактный Пуншевич.

Торопуло отвел Пуншевича в сторону.

– Об этом не будем говорить, – сказал своему другу Торопуло, ведь ясно это нас не касается. Мы можем хорошо закончить первый день нового года, если только сами не испортим его бесплодными вопросами. Надо принимать жизнь как она есть. Только тогда жизнь окажется прекрасной. Никаких проклятых вопросов, никаких самокопаний! Человек живет только раз в жизни! Каждую минуту нашей жизни превратим в радость! Неловкое исследование разрушает очарование мира! Удивляйся, дорогой друг, удивляйся, и ты будешь счастлив! Ничего нет дороже аппетита к жизни! Сохраняй его! Я думаю, нам следует остаться дома, мы ничего не потеряем.

– Нашему гостю, несомненно, есть что порассказать, – добавил Торопуло громко. – Погасите эту люстру и зажжемте свечи.

Торопуло поставил на стол электрические канделябры.

– Так спокойнее, – сказал он, – как-то тише. При таком освещении, я думаю, и наш гость почувствует себя свободнее, – шепнул он Пуншевичу.

И, действительно, Анфертьев почувствовал себя свободнее.

– Еда без цветов – не еда! – Торопуло все ходил и беспокоился.

Он принес японскую вазу, наполненную ландышами. Запах ландышей и легкое вино в сверкающих графинах, украшенных серебряными виноградными листьями, и приготовленные по старинному способу миноги и семга, цвета нежнейшей розы – выбили Анфертьева из колен.

Время для него исчезло.
Наконец, мысли стали отчетливей.

Он вспомнил, как поклонник-гимназист принес его матери букетище ландышей и как мать не знала, что ей с букетищем делать, потому что в комнате оставить было невозможно, ведь у всех разболелась бы голова. Но и выбросить цветы было жалко. Букет был помещен за окно, но и находясь там, он все же наполнял всю квартиру своим одуряющим запахом. Запах проникал даже на лестницу так что все знакомые считали своим долгом поговорить об этом букете.

Анфертьев смотрел на вазу с ландышами.

– А я в вашей квартире жил! – вырвалось у него.

– Это очень интересно, – подхватил Пуншевич, – расскажите нам свою жизнь.

– Я соврал, – сказал Анфертьев, – никогда я в этой квартире не жил.

– Вообще, этот дом замечательный. Принадлежал он португальскому консулу, Антону Антоновичу Дауеру, – сказал Торопуло, – последнему представителю стариннейшей фирмы, торговавшей винами. У него был попугай, чуть ли не двухсотлетний, даже на этикетках фирмы изображен был этот попугай. Стал он своего рода живым гербом.

Сидит, сидит, скучает и вдруг запоет шотланскую песню, полную меланхолии, или голландскую о море, или вдруг исполнит арию из Прекрасной Елены. Висел он в клетке, в кабинете у хозяина, а хозяин сидит за письменным столом, курит, мучительно думает, вспоминает подругу своего сердца, норвежскую оперетточную певицу, взглянет на свою жену и выпить ему захочется. Неслышно подойдет к шкафчику и лишь захочет налить рюмочку горькой, уже исполняет попугай „буль-буль-буль". Слышит супруга, сидит она вечно в обшитой дубом столовой, чтоб видеть мужа и вяжет салфетку для печенья. Кричит:

– Саша, Саша, ду тринкст ви эйн бауер.

Отойдет последний представитель столетней фирмы от шкафчика и снова сядет за письменный стол скучать и думать, а попугай уже поет шаляпинским голосом:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир-телец-златой.

В кабинете стоял граммофон, среди прочих пластинок была и пластинка с этой арией. Гости очень любили эту пластинку.

– Характерно, – сказал Пуншевич.

– Дауер был тихий, скромный человек, ему хотелось пожить в свое удовольствие, но супруга была честолюбива, она заставила своего мужа стать португальским консулом. Чтоб несколько удовлетворить Вену, чтобы быть свободнее, чтоб отдаться своей любви Дауер стал португальским консулом. Но почтенная супруга его принялась устраивать приемы и званые вечера. Дауеру пришлось их организовывать и на них присутствовать. Так ему и не удалось пожить в свое удовольствие. Его постигла трагическая участь. Однажды Антон Антоныч должен был ждать на вокзале приезда португальского короля. Погода была промозглая осенняя, петербургская. Несчастный Дауер все ходил по перрону, скучал, мысленно укорял супругу, из-за которой он должен в такую погоду торчать здесь. Ему стало жарко, затем холодно. Совсем больной он вернулся с вокзала. От крупозного воспаения легких он скончался. Вот вам и жизнь человека. Желтоватый газовый свет по вечерам по-прежнему освещал Петербург того времени, в переулках стояли цепи извозчиков и лихачей: женщины в длинее фигуры платьях с круглыми муфтами в руках плыли, за ними следовали мужчины в брюках, касавшихся пят, рестораны были освещены, театры были открыты, полны, в одном из них пела его возлюбленная. Но попугай больше не кричал буль-буль. Помню, я шел за его гробом, масса было людей в треуголках. Вдову вели под руки бельгийский и германский консулы. Так умер последний владелец этого дома, а

строил его какой-то прокурор, приносил он много дохода. Здесь были только огромные квартиры.

Ночь прошла в занимательных рассказах. Рано утром покинул Анфертьев своих новых покупателей. Он радостно спускался по украшенной изображением Меркурия мраморной лестнице.

– Торговля расширяется, – думал он, – в прежнее время я сел бы в автомобиль и поехал бы на острова или кутить к Эрнесту или в Самарканд к татарам, или в Новую Деревню к цыганам. Там для меня поставили бы самовар, цыганки бы пели и танцевали, а затем сиреневое утро за окном, выйдешь – на аллее воробьи чирикают и автомобиль ждет. Дома скинешь шубу на руки лакею, отдашь цилиндр и пройдешь в свою спальню. Велишь разбудить себя в два часа, никого не принимать, говорить, что нет дома. Как приятно раздеться после бессонной ночи и, почитав минут пять, уснуть. В два часа кофе с лимоном, наденешь халат и идешь в кабинет, где уже лежат телеграммы и письма. А в кабинете удобное кресло. Вечером театр или клуб, – усмехнулся Анфертьев, – я торгую предметами, на которые несомненно появился бы спрос после войны.

Анфертьев шел по сиреневым улицам, голуби ворковали под крышами, воробьи чирикали.

Прохожих еще не было.

Анфертьев решил пройтись по Неве.

ГЛАВА 5

ПЕРЕЕЗД

Боязнь старости мучила Локонова. Лежа в кровати он с грустью смотрел на уже выхолощенные для него предметы. Когда-то с большой любовью он приобретал и этот письменный стол времен Александра 1 и этот шкафчик для книг времен Павла 1, этот диван и эти два кресла красного дерева. Он вспоминал, как он расставлял их, стараясь, чтобы они давали как можно впечатлений его душе, чтоб вокруг них незримо реяли какие-то краски, какое-то ощущение вызывалось бы ими разных эпох, чтоб это все сливалось в некое целое. На этом диване он любил читать Пушкина, растроганный, даже иногда плакал над отдельными строчками, не в силах вынести красоты. Как он любил Достоевского и как волновали его эстетические проблемы! Теперь, эти вещи умерли, и было неприятно Локонову, что они стоят в его комнате, что при взгляде на них целая сеть воспоминаний возникает и тянет за собой обратно его, Локонова, постоянно напоминает ему об его возрасте. Они стали ему не только не нужны, не только не приятны. Они стали отвратительны для него. Локонов решил отделаться от них, продать их. Засыпая, он думал о том, что следует дать объявление в „Вечерней Красной", что вот на улице такой-то, в квартире № такой-то продается письменный стол красного дерева времен Александра 1, шкаф времен Павла1, диван и кресла красного дерева. И последние мысли Локонова были, что мать его страшно удивится: будет страшно жалеть и уговаривать его не продавать. А утром встал Локонов и ему показалось, что он видел сон: в неком замке живет прекрасный юноша, и все-то у него прекрасно, дивные картины висят по стенам, прекрасные подстриженные аллеи с прелестными шедеврами. И вот этот прекрасный молодой человек как бы сходит с ума и режет прекрасные картины, ломает драгоценные предметы, выбегает в парк и разбивает статуи, вытаптывает цветочные насаждения и ломает подстриженные в виде разных фигур кустарники.

– А ведь с вами все же нужно расстаться, – подумал Локонов. – Хотя бы ради опыта следует продать эту обстановку, даже быть может следует расстаться с этой комнатой, уехать, переехать куда-нибудь и начать новую жизнь. Вот продам мебель, – думал Локонов – и дам объявление в газете: меняю комнату такого-то размера на комнату такого-то размера и уеду, обязательно уеду.

***

Анфертьев отправился по новому адресу. Он вошел в деревянный домик. Оказалось, в первом этаже живет Локонов. Он дернул за рукоятку колокольчика.

Открыл какой-то дверь.

– Здесь живет Локонов, – спросил Анфертьев.

– Здесь, вот дверь налево.

Анфертьев постучался. Никто не ответил. Анфертьев опять постучал согнутым пальцем и опять никто не отозвался.

– Да вы войдите, может, он уснул, – пояснил парень.

Анфертьев надавил ручку и вошел.

Комната была маленькая. На постели лежал Локонов, и, по-видимому, спал. Грошевый стул стоял у изголовья, некрашенный кухонный столик стоял у окна, на крохотной этажерке, купленный на рынке, лежал хлеб. Сквозь окно с немытыми стеклами виден был уголок двора с искривленной березкой. Над постелью висел портрет известного борца, дяди Вани. Веером расположились открытки. Мери Пикфорд, Гарри Пиль. Анфертьев был потрясен. Уж этого он от любителя сновидений никак не ожидал. Он тронул Локонова за плечо.

– Простите, сказал он.

Локонов открыл глаза и, ничего не понимая, смотрел на гостя. Потом он приподнялся на локте, окинул взглядом комнату и сел на постели.

– Не больны ли вы? – спросил Анфертьев.

Локонов зевнул.

– Ах, это вы, Анфертьев, – сказал он. – Что скажете новенького? Садитесь.

Локонов снял брюки со стула и положил на постель.

– Я долго искал вас, – сказал Анфертьев. – Вы, несомненно, временно поселились здесь. Этот дом совершенно неблагоустроенный.

– Да, я потом, конечно, перееду, но пока здесь неплохо. Здесь очень милый вид из окна. Вообще, я хотел переменить обстановку.

– Неудачная любовь, – подумал Анфертьев, – должно быть бесится от неудачной любви.

– Вот что, – сказал Локонов, – сейчас сновидений мне не надо, или нет, мне может быть нужны какие-то особые сны. Или нет, мне никаких снов не надо.

– Дело не в снах, – ответил Анфертьев. – Мне хотелось вас познакомить с одним инженером. Удивительный чудак!

– Нет, я никуда не пойду, – ответил Локонов, – мне хорошо здесь, и вид из окна ничего, и окружен я милыми и простыми людьми и ничего мне не надо. И обедаю я в столовой, и веду жизнь, как все.

Локонов зажег папироску и затянулся.

– Хорошо чувствовать себя средним человеком. Любить, скажем, цветы, девушек, беседовать о погоде с хозяйками, стоять в очередях,

чувствовать, что жизнь прекрасна.

Анфертьев удивился. Он чувствовал, что Локонов говорит искренно.

– Хорошо еще быть специалистом, – сказал Локонов, – специалистов девушки любят, а я человек пожилой, мне ничего не надо. Вот мне здесь и хорошо. К чему мне диван красного дерева, к чему мне письменный стол, мне достаточно иметь кровать и стул. Мне ничего не надо. Вот ем черный хлеб, пью морковный чай.

– Да, но инженер-то! У него небезызвестная барышня бывает. Локонов молчал.

– Юлия Сергеевна бывает. Идемте, – уговаривал Анфертьев. Сядемте на двадцатый номер и прямо доедем. Переулок Чехова, дом 12, кв. 2. Во всяком случае, хорошо проведем вечер.

Но Анфертьеву не удалось уговорить Локонва.

Но как только захлопнулась дверь за Анфертьевым, Локонов вздрогнул. Ему хотелось подняться и пойти за Анфертьевым следом. Ему хотелось увидеть Юлию.

– Предлог удобный повидаться с ней, – подумал он. – Все же хоть один вечер проведу с ней, а потом можно расстаться навсегда, убедившись в том, что она счастлива. Я увижу ее лицо, может быть даже удастся поговорить с ней хоть бы о незначущих вещах. Надо решить – идти или нет. Время идет, Анфертьев уж должно быть садится на трамвай.

Локонов посмотрел на часы. Было без десяти минут девять. – Поздно, – подумал Локонов, – Анфертьев уже уехал, а одному мне явиться как-то неудобно. Уже было половина одиннадцатого, когда Локонов, наконец, решился и подошел к остановке трамвая. Сел и поехал.

– Ладно, – думал он, – найду какой-нибудь предлог.

Трамвай несся. Локонов сидел в углу. Народу в трамвае было мало. Отчаянно спеша, выйдя из трамвая, понесся Локонов к Жуковской, а оттуда свернул в переулок Чехова. С удивлением увидел Локонов, что переулок Чехова – это и есть переулок с зеленым домом. И номер совпал. Поднявшись по лестнице, Локонов стал подозревать, что и квартира эта именно та, куда ходила с молодым человеком Юлия. – Позвонить или не позвонить, – подумал Локонов, – может быть я забыл номер дома, или может быть Анфертьев ошибся. Вдруг я появлюсь, а они вдвоем. Мне скажут, вот налево или вот направо, я постучу, распахнется дверь, а они вино пьют, или она может быть на рояле играет и подумает: какой он навязчивый и плохой человек.

Локонов стал спускаться с лестницы, но затем он снова поднялся на площадку. Дверь соседней квартиры открылась, выглянула женщина и, подозрительно оглядев Локонова, остановилась, как бы ожидая, позвонит он или не позвонит. Локонов подумал. Она должно быть

следила за мной в замочную скважину, как я стоял, как я спускался, как снова поднялся на площадку. Должно быть она думает, что я вор, и если я попытаюсь уйти, то , чего доброго, она еще крикнет кого-нибудь.

Локонов позвонил.

Женщина дождалась, пока дверь открылась.

Локонов вошел в тревожащую его квартиру.

Дверь в коридор была открыта. Из комнаты неслись нестройные голоса. Лысый пожилой человек, встретивший Локонова в дверях спросил учтиво:

– Вы кого искать изволите?

– Да вот, мне Анфертьев. . . подыскивая слова, начал Локонов.

– С кем имею честь говорить? – спросил хозяин, протягивая руку.

– Я Локонов.

– Очень, очень приятно. Вот, разденьтесь здесь, пройдемте. Торопуло пропустил гостя вперед.

– Простите, что я так запоздал. . .

– Ничего, ничего – ответил Торопуло.

В комнате было масса народу. Анфертьев радостно выбежал навстречу и что-то шепнул Торопуло.

Локонов заметил Юлию на диване.

Нерешительно поклонился всем в дверях.

– Наш новый знакомый, – сказал Торопуло, обращаясь ко всем собирает сновидения. Вы, надеюсь, принесли свои сны с собой? Надеюсь, вам Анфертьев уж говорил о нашем научном обществе.

Но до сознания Локонова не доходили слова хозяина. Гость старался придать своему лицу какое-то выражение, какое – неясно было ему самому. Он, делая вид, что прислушивается к словам Торопуло, Локонов все смотрел на Юлию, наконец, понял, что она рассматривает какие-то картинки.

– Не обращает на меня внимания, – подумал Локонов и отвел глаза в сторону.

– Да, сказал он Торопуло, – очень приятно.

Неожиданно раздался голос Юлии:

– Анатолий Дмитриевич, идите к нам!

Юлия подвинулась.

– Где вы пропадаете, – прошептала она, нигде вас не видно.

– А я вот переехал, – ответил Локонов, – потому и пропадал.

– Старых знакомых нехорошо забывать, – сказала Юлия и тряхнула волосами. – Ну об этом после поговорим. Смотрите, я обижусь, если вы не исправитесь.

– Вот гном летит, – сконфуженно произнес Локонов, – а шапка у него высокая. А вот японские дети, а вот японец в треуголке.

– Какую я чушь несу? – подумал Локонов.

– Знаете что, – сказал он, пытаясь быть смелым, – возьмемте эти бумажки и идемте в тот уголок, а то здесь очень шумно.

– Скажите просто, что вам неудобно здесь сидеть, что здесь места маловато.

– Да, действительно, здесь места маловато, – подтвердил Локонов, – а там свободнее.

Захватив тетрадку, Юлия сказала:

– Идемте!

Остановилась:

– Знаете что, идемте в соседнюю комнату.

– Нравы здесь очень простые, – сказал Локонов и подумал об окне, о воображенном любовнике Юлии.

– Да, Торопуло чудный человек – ответила Юлия Сергеевна, – у него чувствуешь себя, как дома.

Юлия зажгла в темной комнатке лампочку.

– Здесь лучше, неправда ли, сказала она. – Вот, садитесь. Знаете что, я сыграю на пианино. Что вы хотите, чтобы я сыграла вам.

– Да, я, право, и не знаю.

– Ну ладно, что придет в голову.

– Вот „Песня без слов", – сказал, перебирая ноты, Локонов, а вот „Времена года".

– Давайте „Песню без слов".

Юлия играла, подчеркивая чувствительные нотки, особенно отчетливо выделывая все арпеджиандо и трели, местами произвольно замедляя темп, местами помещая два такта в один.

Локонов смотрел на семнадцатилетний профиль. На улице, повидимому, шел дождь. Локонову стало жаль, что ему, собственно ж не о чем говорить с милой девушкой. Локонов думал:

– Вот мы уединились, а говорить не о чем, а завязать разговор необходимо."

– Хотите, я еще сыграю? – спросила Юлия.

– Скрывает, – подумал Локонов, – притворяется.

– Скажите, любили ли вы когда-нибудь? – неожиданно для себя сказал он. Девушка улыбнулась.

– Ого, какой вы, а я думала – вы скромник.

Локонов покраснел.

– Лучше вы расскажите о своей первой любви, – предложила Юлия.

– Это невозможно, – почти крикнул Локонов.

– Нет, я никого не любила, – заметив смущение собеседника, сказала Юлия.

– Но молодой человек в этом зеленом доме! – сжег свои корабли Локонов. Он часто вас провожает по вечерам.

– Ах, вот вы про что, – рассмеялась Юлия. – Да ведь это член-корреспондент этого общества. Какой вы ехидный – ведь ему уже под шестьдесят лет. А провожает меня, потому что у меня есть много благотворительных значков, он хочет их прикарманить.

– Покажите мне его, – попросил Локонов.

Юлия встала, подвела Локонова к дверям.

– Вот он, – сказала она, указывая на диван.

На диване рядом с Торопуло сидел стройный бритый старик с лицом, слегка попорченным оспой и абсолютно голым черепом.

– Неужели, спросил Локонов.

– Конечно, – ответила Юлия.

– Объявляю общее собрание открытым, – раздался в соседней комнате голос Торопуло.

Сегодня на повестке: доклад д-ра Шеллерахера.

1) Опыт введения в изучение действия сновидений о еде на отделение желудочного сока.

2) Чтение сновидений о еде: Локонов

После обшего собрания концерт.

3) Романсы о еде в исполнении Анны Кремер.

4) „Свадебный обед" сюита Гаха в исполнении квартета.

После концерта
Чай и танцы до утра.

Локонов слушал сюиту. Звенели и пели рюмки, как голоса детей. Раздавалось разнообразие человеческих голосов, отдельные голоса и как бы произносились речи. Возникал смех и как бы охватывал весь стол, все время приглушенно, как отдаленный аккомпанемент звучала нежная и строгая музыка, служившая как бы фоном для звукового свадебного стола.

Затем Торопуло прочел свои стихи:

Тают дома. Любовь идет, хохочет
Из сада спелого эпикурейской ночи.
Ей снился юный сад
Стрекочущий, поющий,
Веселые, как дети, голоса
И битвы шум неясный и зовущий.

Как тяжела любовь в шестнадцать лет.
Ей кажется: погас прелестный свет,
И всюду лес встает ужасный и дремучий,
И вечно будет дождь и вечно будут тучи.

Локонов внимательно слушал. – „Уж не стихи ли это о Юлии обеспокоился он.

ГЛАВА 6

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЖУЛОНБИНА

Жулонбин отправился к Пашеньке.

Пашенька служила в булочной.

Она женихов искала.

По вечерам они приходили, с ногами ложились отдыхать на ее кровать, покрытую пикейным одеялом, беседовали друг с другом.

Однажды женихи решили удивить жильцов. Пришли с инструментами и перевернули старинное деревянное сиденье в уборной.

Пашенька все же надеялась, что если она будет покорной и услужливой, то ее возьмут замуж. Берут же других женщин замуж. Но мужчины приходили, охотно проводили с ней вечера, играли с другими мужчинами в карты, пили водку, орали песни, но не проявляли никакого желания жениться.

В толпе женихов иногда появлялся Жулонбин. Он играл с женихами в очко, курил и пил приносимую женихами водку.

– Славная ты девушка, Пашенька, – добрая, гостеприимная. Пожалуй, пропадешь. Это ведь все шпана к тебе ходит. – Говорил он про угощавших его людей – Надо тебе вырваться из этого омута.

Наверху круглая луна, внизу – сотни фонарей, аллеи Елагина острова. По аллеям мчатся пони, быстро быстро перебирая ногами и распушив по ветру свои длинные хвосты. В санях Ираида и девочка с Мишкой – берлинской игрушкой, позади них карапуз пытается джигитовать на санках. Около лыжной станции какой-то любитель лошадей в шутку уверяет свою спутницу, что у лыж тоже бывают разные масти – не даром здесь на станции собраны самые разнообразные лыжи – от универсальных „муртома", горных лыж „телемаркен" не говоря уже о лыжах-маломерках специально для детей. На станции собрано три с половиной тысячи пар лыж говорят они.

Бесчисленные лампы так упрятаны в рефлекторы, что их совсем не видать, и все заснеженное пространство в 200 метров длиной в 70 шириной, покрыто яркими бликами неизвестно откуда исходящего света. Получается полная иллюзия, что освещение идет снизу из-под земли. В озеро света, заливающего ледяное пространство, вливаются струи цветных прожекторов. Это каток-гигант. На коньках катается Жулонбин. Он учит булочницу кататься. Здесь волейбол на коньках. Там баскетбол с противниками, летающими со скоростью ветра по гигантскому простору ледяного поля. В отдалении теннис.

Вот сидят они, отдыхают и слушают разговоры.

Обыкновенно наши суда не останавливаются в Индии, остана-

вливаются на Цейлоне. Тут – случайность – Трансбалт почему-то зашел в Калькутту. Может быть, для пополнения запасов угля или для срочного ремонта. На борту судна было две коровы в качестве живой провизии. Судно стояло в порту, к капитану на корабль явилась делегация от одного храма и заявила:

„ – У вас на борту имеется корова, которая для нас священна. Стали они просить капитана продать им корову. Говорят, будут ее содержать во храме. Капитан растерялся от такой небывалой просьбы: продашь корову – поощрение религиозных предрассудков, не продашь – невнимание к угнетенной нации. Предсудкома тоже не мог решить. Созвал партийное собрание. На нем этот вопрос жарко обсуждали и решили эту корову подарить.

Храмовая делегация в это время сидела на спардоке, ожидая решения. Когда индусы узнали решение, они были поражены: Как! им дарят корову! Они ушли, а затем явилась большая процессия, свела корову с корабля и ввела со всеми церемониями в храм.

После этого прислали индусы ответный подарок экипажу Трансбалта – огромное количество фруктов.

Особенно были довольны туземцы грузчики. Они оказали особое внимание Трансбалту при погрузке. Быстро они нагрузили судно.
– Слышал, – сказал лыжник – наша-то буренка выдвинулась в святые!

Жулонбин вмешался:

– По понятиям индусов корова вообще имеет первую степень между животными.

Окно было раскрыто, но несмотря на это в убежище приобретателя отвратительно пахло. Все предметы, вносимые в эту комнату, неизбежно приобретали несвойственный им запах. Острые и кислые ароматы начинали исходить от них.

Жена стремилась побороть этот запах. Иногда она дарила мужу цветы, которые тот с гордостью принимал. Но запах цветов в этой комнате начинал вызывать тошноту, становился приторно сладким. Спустя некоторое время запах, свойственный цветку, исчезал. Запах различных испарений начинал исходить от него. Затем необыкновенно быстро цветок вял.

Ни черемуха, ни сирень, ни жасмин, ни раскрытое настежь окно не могли освежить комнату.

Локонов сидел перед букетом сирени и удивлялся, что от сирени исходит зловоние.

– Но все же и в этой жизни, – думал Локонов, – есть семнадцатилетняя Юлия, есть цель жизни.”

Жулонбин говорил о том, как он счастлив, что сейчас он

совершенно погружен в классификацию окурков, что здесь истинное разнообразие, и читал целый трактат о различных формах, о различном виде примятости, изогнутости, закрученности, окрашенности окурков.

– А вот какой осколок, – продолжал Жулонбин, – и к нему прицеплен окурок. Вот тут-то и возникает трудность классификации. Личные симпатии классификатора. Можно было бы отнести этот предмет к осколкам, а можно к окуркам. Вот здесь и возникает трудность, сомнение – никто не может разрешить, – добавил Жулонбин с грустью." – Все в мире удивительным образом соединено друг с другом.

В городе все давно уже спали. Локонов и Жулонбин сидели на кухне под канцелярской электрической лампой. Локонов следил, как Жулонбин работает и молчал.

Юлия не пришла.

Жулонбин закрывал глаза и видно было, что он мучительно раздумывает, затем открывал, вносил запись в инвентарную книгу.

– Классификация – величайшее творчество, – сказал он, когда все окурки, лежавшие на столе, были занесены в инвентарную книгу – классификация, собственно, оформление мира. Без классификации не было бы и памяти. Без классификации невозможно никакое осмысление действительности. Все люди невольно размещают все по ящикам. Я это делаю сознательно. Классификатор – лучший человек.

– Мне пора, – сказал Локонов.

– Посидимте, попьемте чайку, я сейчас кипяток поставлю. Жулонбин зажег керосинку и поставил чайник.

После работы нужно отдохнуть, побеседовать, – возясь над керосинкой, говорил Жулонбин.

У Локонова не хватило воли уйти.

– Нет, – сказал Жулонбин – не считайте меня скупцом, я приношу великую пользу человечеству. Это верно, что я духовно оскопил себя, но все это для великого дела систематизации. Систематизация – это моя великая страсть. Как у каждого человека, охваченного великой страстью, у меня есть, конечно, свои странности. Но не обращайте на них внимания. Ведь если б я был скопидомом, то я собирал бы предметы, имеющие реальную ценность. Я же, как видите, собираю всякую чепуху или то, что считается чепухой. Не уходите, – удержал он Локонова, – я покажу вам все, что имею. Ведь скупец не показал бы вам своего богатства. А для меня одно наслаждение показывать мое имущество. Показывая, я вспоминаю, сколько трудностей доставило мне его приобретение – сколько мне пришлось народу объегорить, чтобы его получить. Бессоные ночи я проводил, его собирая, со старушками часами сидел ради какой-нибудь выцветшей ленты. Все это я делал ради классификации.

Локонов ушел. Жулонбин стал поднимать крышку ящика, в комнате раздался стон.

– Никто незаметно не заберется ко мне – радовался систематизатор. – Здесь струна издаст стон. Там, неразличный для постороннего взора, сухой листик в замке стрятан.

Он стал проверять принятые им меры предосторожности. Все вещи были окружены как бы паутиной скрипов, стуков, стонов. Жулонбин мог спокойно спать. Если б его дочь или жена, задумав помешать его работе и взять какой-либо предмет, забрались в комнату во время его сна он моментально услышал бы, если в отсутствии – легко заметил бы.

Жулонбин подошел к двери, вложил ключи и прислушался. Дважды повернул. При каждом повороте ключа как бы медленно натягивалась струна и вдруг лопалась.

– Да, раньше люди были умнее, – стоя у двери размышлял Жулонбин. – У сундуков были запоры с мнимо приятными звонами. Сейчас же жена могла захватить пропойцу-мужа на месте преступления. Теперь не то – все забыли об этих запорах. Удивительно как самые простые вещи забываются, потом следующие поколения полагают, что ради эстетики музыкальные запоры существовали.

Жулонбин вдохновенно тряхнул своими длинными, нежными волосами.

– Как жаль, что моя комната так мала, что приходится отказаться от систематизации громоздких предметов, что приходится собирать вещи, почти не имеющие веса.

Жулонбин подсел к письменному столу, достал бумажки с цифрами.

Письмо кухарки своей дочери

а – 32	Количество слов 102	имен существ. 20
б – 9	Восклиц. знаков 1	имен прилагат. 40
в – 12	точек 33	союзов 10
г – 7	запятых 0	предлогов 5

Письмо заведующего кооперативом к предмету страсти

а – 19	Количество слов 58	имен существ. 15
б – 8	точек 3	имен прилагат. 20
в – 10	запятых 1	
г – 6		

Жулонбин достал из кармана письмо, похищенное днем в кооперативе.

Ткацкая контора наследников

В. 1. Гаврилова

Июль 7 дня 1912
Волостное
В Куйбышинское
Правление

М.Г.

За выбытием двоих в загробную жизнь и одного на военную службу – паспорта возвращаются въ вышеуказанное учреждение

Пребывает с почтением къ Вам

За Н– въ В. 1. Гаврилова Н. Уткин.

Не обрашая внимания на своеобразие этой записки, не задерживаясь ни на минуту над ней, может быть и смысл ее не дошел до него, Жулонбин стал подсчитывать количество гласных, согласных, слов, имен существительных, прилагательных.

Затем он подложил ее под другие бумажки, взял счеты и стал подсчитывать, сколько же у него имеется на сегодняшний день – гласных, согласных, слов, имен существительных, имен прилагательных. . .

Счеты щелкали. Жулонбин задумался.

– Но даже, если это и так, допустим, что я скупец. Лейбниц тоже к концу жизни стал чрезвычайно скупым, но ведь это не помешало ему остаться философом.

Еще долго сидел Жулонбин, видно было, вопрос этот его беспокоил.

Жулонбин был воспитан, как бы на розах.

Наступил вечер. Жулонбин стал напевать французские шансонетки. Нюхая букет сирени, Жулонбин мечтал о любовных приключениях. Частенько, в кожаных перчатках, гулял Жулонбин по близ лежащему скверу. Гордо он шагал, вспоминая мимолетные связи, предчувствуя новые. Жулонбин любил женщин, как развлечение.

– Жаль, что Юлия не пришла, – думал Жулонбин.

Пошел Жулонбин прогуляться по недавно разбитому скверу. Все ходил по дорожкам, усыпанным гравием, все присматривался. Иногда присаживался, прислушивался. Вставал и опять ходил. Наконец, он твердо подсел к какой-то одинокой девушке и стал чертить на песка корабли, дома, пирамиды.

Девушка смотрела, смотрела и заинтересовалась.

– Что жена, – ответил Жулонбин девушке, – жена для меня кухарка, она совсем некультурная.

Он нежно взял руку обольщаемой.

– Милая, – сказал он, – если б вы только знали, как больно иногда бывает от сознания, что ты связал свою судьбу с существом низшим, как иногда хочется прикоснуться к чему-то высшему нежному

почувствовать биение чистого сердца. С моей женой я не могу поговорить о том, что составляет существо моей жизни. Тяжело чувствовать, что твое сердце заперто на ключ, что она холодна к тому, что тебя интересует. Она совсем не понимает всего значения открытия гробницы Тутанхамона. Между тем я был в свое время в Египте, и меня гробница этого новатора очень интересует. И Арктикой она совершенно не интересуется.

– Вы были в Египте и на полюсе были? Не участник ли вы экспедиции на Малыгине? – спросила девушка оживленно.

Жулонбин растегнул пальто, девушка увидела значек участника арктической экспедиции.

– И не только в Египте, – ответил Жулонбин, – я и на острове Формозе был. Если б вы знали, какие у вас глаза. Я таких глаз еще нигде не встречал. Такие глаза можно встретить только раз в жизни за минуту до этого. А ну-ка, посмотрите на меня еще раз. Нет, не так, так, как вы за минуту до этого смотрели. Вот спасибо! Нет, вы некрасивы, когда видишь красивую женщину, всегда подозреваешь, что она глупая, – продолжал Жулонбин задушевным тоном – Боже мой, но в чем же скрыто ваше очарование, скажите, вы ведь мужчинам очень нравитесь?

Незнакомка сидела на скамейке. Никто до сих пор так не говорил с ней. Она была благодарна незнакомому человеку за его слова, за его веру в то, что она мужчинам очень нравится.

Она оживилась и ласково посмотрела на Жулонбина. Жулонбин, как бы невзначай, взял ее руку, повернул ладонью вверх и стал рассматривать.

– Какая у вас славная рука, – сказал он. – Нет, нет, не говорите! Я сам узнаю, кто вы. Обладательница такой руки должна быть счастливой, между тем вы. . .

Жулонбин не отпускал руку девушки.

О чем только не беседовали они в этот вечер. Девушка рассказала Жулонбину свою жизнь.

– Как вас зовут?

– Таня.

– А меня Присоборов, Михаил, но зовите меня просто Мишей. Расстались друзьями. Условились опять завтра здесь же встретиться.

Но нет, Жулонбин проводил ее домой, долго беседовали они у ворот. Жулонбин выразил желание посмотреть, как она живет.

– Нет, нет, сегодня же, – и настоял на этом.

– Ох, не надо, – сказала девушка, – неужели вы только за этим пришли сюда.

Рано утром ушел Жулонбин. Он взял на память пучек волос, носовой платок и чулок девушки.

На следующий день тщетно ждала Присоборова девушка на скамейке.

Как-то она встретила Присоборова на улице. Но он даже не посмотрел на нее. Он шел с Завитковым и о чем-то с жаром рассказывал. Жулонбин рассказывал о своем последнем любовном приключении.

Жулонбин стоял и беседовал с буфетчицей. Доставая деньги он расстегнул пальто. На секунду блеснул орден Красного Знамени.

– Вот уже пятый раз я беседую с вами, а только сегодня узнал, что вас зовут Полиной.

– Не Полиной, – прервал пожилой ехидный покупатель, а должно быть Прасковьей.

Жулонбин подождал. Покупатель выпил кружку пива и ушел.

– Меня зовут Аркадий Трифонов, – сказал Жулонбин – будемте знакомы. Отчего вы здесь работаете, отчего бы вам не поступить в Октябрьскую гостиницу. У меня там знакомый метр-д'отель.

Покупателей в кафе не было. Когда Жулонбин хотел заплатить за пиво, та уговорила его не платить.

Жулонбин вышел на улицу, оглянулся, вся устремившись вперед, махала ему рукой.

Виталий Носков – он же Жулонбин – шел к отставной хористке. Там его должны были хорошо накормить. Там можно было поговорить о любви. Хористка встретила его сильно напудренная. Она бросилась к нему навстречу. Это была ее последняя любовь. Она чувствовала, что скоро ей будет уж не удержать Носкова.

Она долго прощалась с Носковым. С глубокой нежностью она целовала его глаза, его шею. Вышла на лестницу и смотрела, как спускается дорогое для нее существо.

Виталий уходил, унося деньги полученные в долг. У любящих должно быть все общее. Он не мог отказом оскорбить женщину, страшно его любившую.

Долго смотрела хористка из окна, но Виталий не обернулся. Она достала бинокль и следила, следила за дорогой фигурой. Нет, не оглянулся.

ГЛАВА 7

В ПИВНОЙ

Пируя у двух сестер, Анфертьев писал в припадке веселости письмо инженеру.

Многоуважаемый Василий Васильевич.

В ответ на ваше почтенное предложение от 13 февраля с.г. имею честь препроводить прейскурант полученных нами товаров на настоящий месяц.

С совершенным почтением
Анфертьев

ПРЕЙСКУРАНТ

№№	Наименование	Цена руб.	коп.
1.	Загробное существование, сон няни из богатого семейства	1	–
2.	Пятилетка, сон престарелой купчихи	2	–
3.	Девушка и вежливое отношение к ней медведей Сон библиотечной работницы	–	50
4.	Чума, сон юристки в 1921 году	2	–
5.	Сон гимназистки. Она должна выбрать девочку, с которой ей сидеть на парте. Гимназистка в затруднении. Вдруг все ученицы превращаются в пирожные. Выбор становится легким.	3	50 особо рекомендуется
6.	Сон о том, как одна дама встретила на лестнице фигуру с архитектурным лицом, которая всем раздавала судьбу и о том, как дама подошла к этой фигуре, но та судьбы не дала, – не хватило	1	–
7.	Страшный сон девушки о том, как она кого-то расстреливает и о том, что состояние у тех, кого она расстреливает, было жуткое, они хотели оттянуть момент смерти, один из них стал искать носовой платок.	1	–

Уже хохоча, писал Анфертьев записку Локонову

Многоуважаемый тов. Локонов!

К величайшему нашему сожалению продать сновидение гимназистки о пирожных мы никак не можем, так как это сновидение оказалось уже проданным Торопуло, который отступиться от своей покупки ни на каких условиях не пожелал. (Прилагаем его подлинное письмо).

В ожидании ваших дальнейших поручений, которые мы всегда готовы исполнять с величайшей тщательностью, остаемся с совершенным почтением.

Анфертьев.

В уборной стоял народ.

– Эх, – сказал один, – какое теперь пьянство. Вот в семнадцатом я был в Змиеве под Харьковом. Вот тогда мы винца попили. Помню я, было нас человек семь, кушали, прямо лакали из одной бочки, тут же и спали. Докушались до дна, видим, Митька Осьмак на дне во всей аммуниции лежит, насквозь проспиртованный, с сапогами, с махоркой, с котелком. . . Ничего, спирт все очищает.

– Да, это ты правду говоришь, – сказал другой. – Выпустили водку, все живое и нализалось. Лошадь травку щиплет, а травка уже проспиртовалась, пощиплет, пощиплет, – танцевать начнет, хвостом будто от мух отбивается, подымет голову, прислушается – ржать с аппетитом начнет, а затем по улице носится пьяных кур-петухов и людей давит. Пьяный ворон на ветке сидит и вдруг свалится и из травы встать не может. Собака подойдет, хочет схватить птицу, а ноги у нее разъезжаются, а кругом стрельба, кто девицу тащит, кто комод волочет, кто пуд сахару, кто с осовелыми глазами золото требует, кто немцев языком громит, кто себя страдальцем за Русь святую и вшивым мясом называет. Козявки и те пяны были. С грязью водка текла. Было время, чистого спирту попили.

– А я знал фельдшера, – сказал третий, отмывая коньячную этикетку, – так тот изо всех банок с гадами спирт выпил. Вот питух был! Пил систематически, с полным сознанием, своих приятелей угощал.

– Ничего, – добавил первый, – спирт все очищает.

Да, – сказал вузовец, заметив смывавшего с бутылки, – за такие действия тебя прямо растерзать нужно, мало вас отправили на торфозаготовки. . .

– Это еще что, – сказал другой вузовец. – Четыре года я видел еще почище гада. Жили мы тогда в общежитии. С девчатами сидели, обедали. Видим в окно – на пустыре баба встала над кадушкой с огурцами и своим рассолом их освежает. Мы прямо света не взвидели.

Сбежали вниз и потащили ее в милицию. Узнали потом – за хулиган ство выслали ее.

– А этот тип тоже – обменяет бутылку!

– Давай, потащим его в милицию.

– Бери его за шиворот!

Пьяный стал отбиваться.

Появился буфетчик.

– Это еще что за безобразие! Эй, Петя, гони их в три шеи.

ГЛАВА 8

СНОВА МОЛОДОСТЬ

Лишь только успел сесть Локонов, свет потушили. Локонов не смотрел на экран. Он слушал музыку. Симфонический оркестр играл избитые мотивы, знакомые Локонову с детства. Он не мешал. Он помогал сосредоточиться. Локонова мучила перспектива его существования. Теперь, когда выяснилось, что Юлия свободна, это было особенно мучительно. Это проклятое чувство, что его молодость кончилась! Как же он может жениться на Юлии. Вот если б это было несколько лет тому назад.

Как только дали свет, Локонов выбежал из кинематографа.

Дома, не раздеваясь, он бросился на постель. Ему хотелось ни о чем не думать.

– Три пики – откашливаясь, произнес прокурор, теребя свои полседые, рыжие, короткие баки, как-то особенно держа карты в левой руке.

– Пас, – скромно уронил седенький с лысинкой, с гладко выбритыми щеками и подрезанными седенькими усами старичок, весь чистенький и аккуратененький.

Партнер прокурора, сложив аккуратно карты на ломберном столе, бросил быстро: „без козырей"– и при этом, как петух, закрыл глаза.

Четвертый игрок, не смущаясь, спокойно рассмотрев свои карты, сложив аккуратно и взяв в левую руку, а правой проводя черту мелом для записи на столе, спокойно заявил;

– Я, милостивые государи, позволю себе помочь вам в игре и рискну сказать: пять пик.

Наступило минутное молчание. Прокурор стал более нервно теребить свои баки, расправляя и гладя их своим корявым мизинцем правой руки.

Чистенький скромный старичок, которому было лет под семьдесят, нигде никогда не служил и ничем не занимался. Он был старый холостяк, жил где-то на Песках в своем особняке вместе с двумя сестрами приблизительно таких же лет. Сестры были близнецы.

– Как вы смели толкнуть меня! – раздалось над ухом Локонова, – как вы смели толкнуть меня во время игры, – вскричал толстяк, военный врач, и зло посмотрел на Локонова.

– Как вы смели дотронуться до чужих денег! – вскричал студент, кривя лицо.

– Как вы смеете просить разменять, когда я выиграл, – плаксиво сказал старичок.

– Как вы смели сказать, что это табло будет бито! – раздался лай пяти-шести игроков.

В азарте даже кто-то крикнул;

– Что за осел!

Локонов увидел, что он молча отошел от стола, и стал пересчитывать деньги. Стол, как разьяренный улей, гудел за ним.

Затем Локонов увидел, что он пошел в кофейную, где и проболтался до шести часов. Там велся горячий разговор про минувшую ночь. Иванов сильно бил. Корнилов ловко сделал из десяти рублей две тысячи. Снова потянуло Локонова в клуб отыграться. Лишь только бьет восемь часов, вот он уже мчится в этот притон.

Смешав две колоды карт и хорошо перетасовав их, передает соседу. Тот снимает, вкладывает в деревянный ящичек. Банкомет берет ящичек в левую руку и начинает сдавать на четыре табло по три карты. Спустя минуту карты были открыты.

Локонов, сидя на постели, усмехнулся. Он выиграл. У него была девятка, у банкомета восемь.

– ,,Сегодня мне повезет, – подумал он.

В комнате появился Анфертьев.

– Тоска, – сказал он, – выпить хочется. . .

Появление Анфертьева рассеяло грезы Локонова.

– Выпить? – спросил он, – что ж, можно и выпить. Я на вас не сержусь. Сбегайте, вот вам. . .

– А вы вставайте, нехорошо пить в постели, да и дружеская беседа не может состояться, – сказал Анфертьев.

– Не к чему мне вставать, – ответил Локонов, – все мне опротивело и старая жизнь, и новая, ничего не желаю. Мне тоже сегодня выпить хочется, назюзюкаться. Поспешите, а то, чего доброго, кооператив закроют. Возвращайтесь мигом сюда. Смотрите, не исчезайте.

– Как можно, – сказал Анфертьев, – мигом сделаю, одна нога здесь, другая там.

Пока Анфертьев летал за спиртным, Локонов достал свои юношеские дневники. Как прескверно отразился в них его образ. С отвращением он откинул их.

– А если кто увидит, – подумал он, – найдет случайно после моей смерти, ведь будет смеяться надо мной, наверняка будет смеяться. Надо сжечь их. Сжечь? – повторил он. – Это слишком высоко для них. Просто завернуть в них селедки, устроить фунтики для крупы, чистить ими сапоги, – вот какой участи они достойны.

Локонов стал рвать тетради.

– Сегодня пусть они послужат вместо скатерти и салфеток. Поставим на них водку и соленые огурцы и будем пить. Пьяному, пожалуй, легче повеситься."

Анфертьев вернулся. Он застал Локонова одетым. Листки из

тетрадок покрывали кухонный стол.

– Ну-с, давайте пить, – сказал Локонов. – Как ваша торговля идет. Как ваши воображаемые магазины процветают? Много ли в них приказчиков? И как относительно рекламы? Какие вы корабли нагружаете. Торговец – это звучит гордо. Купец – это лицо почетное в государстве. Какой чин вы получили? Отчего я не вижу на вашей шее медали? Какие благотворительные учреждения вы открыли?

Анфертьев молчал.

– Да, наконец, сказал он, – торговля теперь не почтенное занятие, а нечто вроде шинкарства: поймают, – по шее накладут. А в прежнее время я бы, пожалуй, действительно, торговлю расширил необычайно. Уж я бы нашел, чем торговать. Уж я бы со всем миром, пожалуй, переписку затеял. Накопление я бы чрезвычайно облагородил. Стали бы все копить нереальные блага, покупать их у меня. А я бы на эти деньги виллу где-нибудь купил, завел бы жену, детей, двадцать человек прислуги, изящные автомобили. Жизнь моя была бы похожа на празднество. И пить бы не стал, совсем бы не стал. А так теперь – я пропойца. Да и вы были бы совсем другим.

–Картежником – сказал Локонов, – романсы бы любил. Ничего бы из меня не получилось.

– Не стоит расстраиваться, – ответил Анфертьев. – Вот водка стоит, вот воблочка, вот огурчики, солененькое призывает выпить. К чему думать, чем мы могли бы быть и чем стали. Чем могли, тем стали. А кончать самоубийством – слуга покорный! Вот если б я был влюблен, если б мне было восемнадцать лет, если б я не вкусил сладости жизни, – тогда другое дело. А так чем же жизнь моя плоха с точки зрения сорокалетнего человека?

Свободен, как птица, никаких идолов, ни перед чем я не преклоняюсь. Доблесть для меня – звук пустой. Любовь – голая физиология. Детишки – тонкий расчет увековечить себя. Государство – система насилия. Деньги – миф. Живу я , как птица небесная. Выпьемте за птицу небесную! И ваша жизнь не плоха. Что девушка за другого вышла замуж? Экая, подумаешь, беда. Да вам, может быть, и девушки-то никакой не надо, так это вообще мозговое раздражение.

– Как это мозговое раздражение, – спросил Локонов.

– Да очень просто. Хотели оторваться от своих сновидений, прикрепиться к реальной жизни, связать как-то себя с жизнью, ну что ж, неудалось. Идите опять в свои сновидения.

– Вы пьяны! – сказал Локонов. – Как вы смеете вторгаться в мою личную жизнь?

– Личная жизнь, священное право собственности! А кто мне запретил в нее вторгаться; обычаи старого общества? Я плюю на них. Вы думаете, что Анфертьев такой безобидный человек, безобидный потому что поговорить не с кем! Так вот, скажите, к чему вам девушка?

Что вы могли бы ей дать? Душевное богатство тысяча девятьсот двенадцатого года? Залежалый товар, пожалуй, покупателей не найдется. Мечты о красивой жизни у вас тоже не имеется. Юношескими воззрениями вы тоже не обладаете. Скажите, чем вы обладаете? Нечего вам предложить. Лучше и не думайте о любви.

– Но я не могу жить, как я жил до сих пор, куда мне деться?

– Это плохо, – сказал Анфертьев, – деться некуда. Разве что пополнить армию циников. Действительно, деньги вас не интересуют, служебное положение вас не интересует, удобства жизни вас не интересуют, слава в вас вызывает отвращение, старый мир вы презираете, новый мир вы ненавидите. Стать циником – тоже не можете. Как помочь вам – не знаю. Не знаю чем наполнить ваше существование.

– Но ведь это скука, может быть обыкновенная скука, – сказал Локонов.

– Нет, это не скука, это пустота. Вы пусты, как эта бутылка. И цветов вы в жизни не видите, и птицы для вас молчат, и соловей какую-то гнусненькую арию выводит. Что ж делать, юность кончилась, а возмужалости не наступило. Пить я вам советую. Да пить вы не будете. Скучным вам это покажется делом, тяжелой обязанностью. Старик вы, вот что, – сказал Анфертьев – из юноши прямо в старики угодили. Вся жизнь вам кажется ошибкой. Так ведь перед смертью чувствуют. Вино – мудрая штука, лучше всякого университета язык развязывает! Вот сейчас я с три короба вам наговорил, а для чего наговорил – неизвестно. Размышление ради размышления что ли, философское рассмотрение предмета. И в пьяном виде образование сказывается! Недаром я в педагоги готовился. Ну а потом все к черту полетело. Да вы не горюйте. Ведь на наружности вашей это не отразилось, а что внутри – никому не видно. Да вы не верьте тому, что я наговорил, – это вино наболтало.

Локонов курил папиросу за папиросой. Ему хотелось выгнать Анфертьева.

– Вам пора спать! – сказал он.

* * *

С некоторых пор Локонов был как бы замурован, по своей собственной воле, в этой небольшой комнате. К нему никто не приходил, так как он своих знакомых встречал несколько странно; он не предлагал им садиться, а стоял, заставляя стоять своего собеседника, и всем своим видом давая понять что, собственно, желает, чтобы тот как можно скорее покинул его комнату.

Локонов чувствовал, что у него не хватит воли покинуть эту комнату. Ему хотелось думать, что и любовь его к семнадцатилетней Юлии не есть мозговое раздражение. Ему не хотелось думать, что

семнадцатлетняя Юлия была для него лишь средством выйти из комнаты, снова вернуться к прекрасной природе, услышать соловьиное пение, как слышал в девятнадцать лет, средством оживить себя. . .

После ухода Анфертьева, Локонов, чувствуя отвращение ко всему, лег в постель.

– Ну что ж, – подумал он, – покурим. Вот жизнь и кончилась. А еще я думал, что только в двадцать лет легко кончить жизнь самоубийством.

Но тут Локонов понял, что если он начнет размышлять, то это отвлечет его и он не покончит с собой, что утром он опять проснется в этой проклятой комнате.

– Жизнь не удалась, – подумал он и стал мылить полотенце. Наступал рассвет.

Птички закричали.

Внезапное успокоение сошло на работающего человека.

– Рано еще, – подумал Локонов.

Он отложил мыло и хорошо намыленное полотенце и решил пройтись по городу.

Прошедшая ночь начала казаться диким сном.

Он чувствовал необычайную бодрость и подъем, как человек, счастливо избегнувший опасности. Всем прохожим он улыбался.

ГЛАВА 9

ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Ему хотелось бежать.

Он охотно бы прыгал через канавы, если б таковые оказались на его пути, – таким он чувствовал себя подвижным и юным.

Его одолевал восторг, он удивился осмысленно и яркой окраске домов, милым лицам окружающих. Безобразная карикатура исчезла.

Его возбужденный ум воспринимал все с одобрением, глаз видел лучше, он чувствовал, как что-то сняло дурной налет, освежило все лица.

Заманчиво развернулось над ним синее северное небо и сладостные лучи солнца играли на стеклах домов.

С удовольствием вошел Локонов в парикмахерскую.

Вышел бритый и нафикстуаренный.

Даже походка его как-то изменилась, приобрела какую-то твердость.

Почти взглядом полководца он обвел улицу.

Он решил покорить Юлию.

– Сегодня среда, – вспомнил он, – вечером Юлия будет в зеленом доме.

– Весь день пронаслаждался Локонов жизнью.

Гуляя, обдумывал, что он Юлии скажет.

Весь день он улыбался встречным девушкам и юношам, мысленно причисляя себя к их полку.

А когда наступил вечер, он вошел в зеленый дом.

Незнакомый голос (громко) : на Путиловском заводе жил козел Андрюшка. Просыпаясь утром, шел козел в кабак. Там его угощали. Налижется, бредет по улице, покачивается. Да и погиб он, как настоящий пьяница: встал на рельсы, поезд идет, орет во всю, а Андрюшка, хоть бы что, пригнул голову.

Он был серый, пушистый, огромный.

И была у него жена.

Он стал ее приучать тоже пьянствовать.

Утром встанет и гонит ее к кабаку.

Приходили они в кабак. Кто не давал, того Андрюшка пытался боднуть. Перед тем, как войти, стучал в дверь Андрюшка. Сам кабатчик подносил ему в чашке.

Голос Торопуло (радостно) : – Розы похожи на рыб.

Это не мной подмечено.

Возьмите любой каталог, и вы найдете в нем лососинно-розовые, лососинно-желтые, светло-лососинные розы.

Встречаются розы, похожие на молоко, фрукты и ягоды.

Одни вызывают представление об абрикосах, другие о гранатах,

Есть розы, светящиеся, как вишни.

Женский голос (томно): Дядюшка мой был помещик. Вздумал он стать промышленником на американский лад. Решил превратиться в цветовода. Выписал он из Рейнской долины разные сорта роз. Помню дуги металлические на воротах, на одной мелкие белые вьющиеся розы, на другой – красные. Дядюшка все доверил садовнику. Выписал он его из-за границы. Дядюшка разорился на этом деле. Потом какой-то парвеню воспользовался его идеей.

– Чтож вы: все молчите и ничего про обезьян, про попугаев, про цветы не расскажете, – обратилась Юлия к Локонову.

– Да ведь это довольно неинтересно, – ответил сияющий и свежий Локонов, – Чтож про них рассказать.

Попугаи – это те же оперенные обезьяны. Конечно, они придавали особый колорит квартирам. Теперь попугаев и обезьян нет – и не жалко нисколько, что их нет. И цветы тоже были признаком определенного быта.

Возьмем хризантемы в петлицах или бутоньерки какие-нибудь, букетцы перед приборами.

Быт исчез – и определенные цветы исчезли.

Сейчас у нас любимого цветка нет и неизвестно, какой будет.

Локонов стал смотреть на Юлию.

–Чтож вы не пригласите меня к себе? Мне очень бы интересно знать, как вы живете, – сказала Юлия.

Локонов был застигнут врасплох.

– Приезжайте, – ответил он, краснея и бледнея, – Только, мне кажется, это будет для вас неинтересно.

– Нет, очень интересно, – ответила девушка. – Давайте, условимся сейчас. Завтра? Хорошо?

Юлии хотелось проявить свою энергию во вне, растормошить Локонова. В ней жила, неясная для нее самой, жажда приключений. Инстинктивно она выбирала приключения не очень опасные.

„ – Чем же украсить мою комнату, – думал Локонов, – для посещения моей воображаемой невесты. Как же я буду ее занимать? Придется съездить к матушке, взять остатки китайских вещиц, куски парчи, несколько гравюр с подтеками, графинчик, две рюмки, какой-нибудь подносик, купить цветов, выпросить у Жулонбина гитару, – как будто Юлия играет на гитаре. Может быть вечер и пройдет, как у молодых людей. Куплю немного вина, баночку шпрот, печенье, яблок кило полтора, немного винограду положу в вазу с оленем.

Весь день занимался Локонов приготовлением к приему милой

гостьи. С утра он уже стоял в очередях и забегал в кооперативы. Сделав нужные покупки, он отправился к своей матушке и стал отбирать необходимые предметы роскоши и уюта.

Матушки не было дома, Локонов насилу отыскал ключ и отпер сундук. Он достал какого-то китайского будду, ямайского духа с длинными ушами, карфагенскую лампочку с изображением верблюда, головку от танагрской статуэтки, гравюру с изображением игры в трик-трак, куски голубой китайской парчи, книгу о кружевах. С буфета он снял вазу с оленем. Раскрыл буфет, взял четыре рюмки в виде дельфинов, и графин, легкий, как вода. Взял еще диванную подушку с вышитыми васильками и пекинский веер из голубиных павлиньих перьев. Все это упаковал и повез в свою комнату.

По дороге думал: как все это бедно и нехорошо для любви.

Голубой китайской парчей он накрыл столик.

На парчу поставил цветной графинчик.

Рядом с графинчиком поставил мельхиоровую вазу с оленем. В вазу положил яблоки, груши и виноград.

По тарелочкам распределил ветчину, сыр и зернистую икру. Поставил два прибора.

Перед каждым прибором по две рюмки.

Подушку прикрепил к спинке венского стула.

– Как бы скрыть стены, и потолок очень закопчен. . . Вид у комнаты очень мрачный и сырой. Чем бы умерить свет электричества. Закутать лампочку какой-либо материей – уж слишком глупо. Уж лучше бы свечи, они бы может быть придали комнате призрак чистоты. Был бы освещен, главным образом, стол. Да и то, что я одет несовсем хорошо, тоже было бы не так заметно. . . Но свечей сейчас не достать нигде, только разве у Жулонбина, да этот скряга ни за что не даст, хотя у него они есть всевозможных цветов и толщины. У матери моей, наверно, есть где-нибудь в сундуке, да ехать теперь, пожалуй, поздно, полтора часа езды туда и обратно. В моем распоряжении четыре часа, пожалуй, успею. Нет, так нельзя.

Еще раз окинул взглядом Локонов комнату, не выдержал и поехал за свечами.

– Ну, вот и я, – сказала Юлия. – Как у вас здесь уютно и свечи горят. Оригинально.

– Лампочка испортилась, – ответил Локонов. – У меня мебели, конечно, нет, но вот садитесь на этот стул.

– И гитара на стене висит, вы играете на этом инструменте? – спросила девушка.

– Немного, – соврал Локонов.

– На улице холодно, – сказал Локонов. – Хотите сейчас рюмочку токайского?

Локонов подошел к столу, налил, чокнулся с Юлией.

– За что ж мы выпьем? – спросил он.

– За наше знакомство, – ответила Юлия.

– А это что за статуэтки там у вас стоят?

– Это восточные, – ответил Локонов. – Это должно быть какой-нибудь злой дух. Неправда ли лицо отвратительно? И нос приплюснутый, и уши до плеч, и рот до ушей! А вот пекинский веер из голубиных и павлиньих перьев. А вот китайская парча.

– Еще бы что показать, – с тоской подумал Локонов, чувствуя, что не о чем говорить.

– А вот гравюра. Это старинная игра в трик-трак. Я налью еще, – добавил Локонов и засуетился. Да чтож мы стоя пьем, давайте, сядемте за стол.

Сели.

– Вот шпроты, – предложил Локонов. – вы любите шпроты? Или, может быть, кусочек сыру. А потом вы сыграете, неправда ли?

– Что же вы сыграете и споете? – спросил он.

– А вы что хотите? – спросила Юлия.

– То, что вы любите.

Наступал рассвет.

– Вот, трамваи пошли, – сказала Юлия.

– Мы как будто ничего провели вечерок – нерешительно спросил Локонов.

– Я вас провожу, – предложил Локонов.

– Давайте, пойдемте пешком, – сказала Юлия.

Ей было слегка грустно.

– Что же, – думала она, – он даже не поцеловал меня, неужели я ему не нравлюсь. . .

Локонов проводил девушку до дому. Говорила Юлия. Локонов только поддакивал. Опять Юлии показалось, что только с ней Локонов говорит о пустяках, что с другими он говорит хорошо, умно и интересно, что это оттого, что она для него недостаточно развита.

– Вы меня не презираете, – спросила она, – за то, что я пришла к вам?

Локонов вернулся в свою комнату, взглянул на остатки пиршества и ему стало жаль себя и отчаянно скучно.

– Одинок, по-прежнему одинок, – подумал он, – никак не вернуть молодости, ясного и радостного ощущения мира.

ГЛАВА 10

ЛЕЧЕНИЕ ЕДОЙ

Локонов надел пальто и вышел на улицу. Ощущение вялости души мучило его. Он шел мимо иллюминированных домов к Неве, где стояли суда, украшенные бесчисленным количеством разноцветных электрических лампочек.

Прожектора на судах казались Локонову похожими на эспри на дамских шляпах. Украшенные электрическими полосами, зигзагами, ромбами трамваи напоминали ему цветочные экипажи в балете. А красные светящиеся звезды на домах заставляли его вспомнить о елочных украшениях.

Локонов встретился с Анфертьевым.

– А в общем все это похоже на детский праздник, – зевая, сказал он торговцу – масса блеска, масса музыки, а неизвестно что ждет детей впереди.

– Во-первых, это не дети, – ответил Анфертьев, – это праздник взрослых. Женщины, как вы видите, обладают пышной фигурой. а мужчины, по крайне мере, многие из них бородами и незавидной сединой. Это неповторимый праздник, советую вам ощутить всю его неповторимость, и тогда вы получите огромное наслаждение и будете веселиться вместе со всеми.

– Но ведь это невозможно, – ответил Локонов. – Эти прожектора, взгляните, совсем, как эспри на дамских токах!

* * *

Солнце освещало город.

Нунехия Усфазановна отправилась в коридор к пирамиде сундуков.

Встав на табуретку, сняла картонки.

Обнажился зеленый, окованный железными полосами, сундук старинной работы.

Нунехия Усфазановна повернула ключ – раздался продолжительный музыкальный звон.

Старуха с усилием подняла крышку.

Сняла пожелтевшую газетную бумагу.

Задумалась.

– Что же из этого нужно продать, чтобы ему хватило на пиршество. . . Остался почти без волос, а все такой же. . . неблагоразумный. Ведь сколько раз она ему говорила, что вещей уж не так-то много остается.

Нунехия Усфазановна всегда с грустью продавала вещи Торопуло. Сейчас она вытащила бархатную юбку, капот цвета Нильской воды, зеленое платье из прозрачной шерсти, отделанное на груди и рукавах зеленым плиссированным газом, башлык.

– Что сейчас охотнее купят?

Машинально она открыла коробку, в двадцать пятый раз увидела донышко шляпы матушки Торопуло, имитирующее кочку, покрытую мхом.

Также машинально она закрыла коробку.

Наконец, решила продать зеленое платье из прозрачной шерсти. Может быть купит знакомая артистка. Можно еще ей предложить кружева.

Захлопнула Нунехия Усфазановна старинный сундук. Открыла красный сундук, там на дне лежали тюлевый шарф, вышитый золотом, опушенный гагачьим пухом и кружевная кофточка.

– Это для опереточной певицы хорошо, – подумала старушка, а вот теперь для Торгсина, барахолки и молочницы что выбрать?

Вытащила из большой черной картонки фальшивый апельсин, пучок лент – это для барахолки, серебряный автомобиль с кожаным сидением – это для Торгсина.

Она нашла сверток, заинтересовалась им. Развернула – перечница в виде пули.

Наконец, для продажи и обмена вещи были отобраны.

Нунехия Усфазановна решила отправиться сперва к знакомой опереточный артистке. Если она сама не купит, то купят ее подруги, им нужно одеваться, такова их профессия. Потом – в Торгсин, а завтра на барахолку. С трудом слезая с табурета, она сокрушилась:

– Хотя бы за неделю меня предупредил, что ему деньги нужны. Все за бесценок ведь продать придется. Совсем он не в своего папашу. Тот все в дом носил, а этот все из дому тащит. И для чего? Чтоб всяких прощалыг угощать!

Она вспомнила, что еще есть в сундуках. И даже почти задрожала от ужаса – ценного в них почти ничего уже не оставалось. Один сундук – с устаревшими корсетами, другой с бумажными выкройками платий, третий с волосяными валиками, накладками, локонами. Оставалось еще несколько платьев с кринолинами, да пучки дикованных лент, да легкие, как пух, бальные туфельки с необыкновенными носами. Нунехия Усфазановна высморкалась.

Но вдруг она улыбнулась, она вспомнила про сундук с сувенирами. Она его еще не трогала – там бювары с массивными серебряными крышками, испещренными надписями, паровозы, поднесенные служащими железной дороги по случаю двадцатипятилетия служебной деятельности папаши Торопуло. Там ордена старшего Торопуло.

* * *

Локонов чувствовал, что он является частью какой-то картины. Он чувствовал, что из этой картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле, что он является фигурой не главной, а третьестепенной, что эта картина создана определенными бытовыми условиями, определенной политической обстановкой первой четверти двадцатого века.

Вписанность в определенную картину, принадлежность к определенной эпохе мучила Локонова. Он чувствовал себя какой-то бабочкой, насаженной на булавку.

Локонов выглянул в окно. Стояла темная ночь. Шел дождь.

Локонов налил валерьянки с ландышами. Выпил.

– Надо как-то вернуть молодость, иначе жить невозможно, – подумал он, – отделаться от ощущения этой пустоты мира.

Немец приподнимая шляпу, любезно улыбаясь, кланялся собачке. Кончив раскланиваться с собачкой, он подошел к трамвайной остановке и стал с пьяной услужливостью подсаживать публику, приподнимая шляпу и пошатываясь. Немец был из загадочной страны, которую совершенно не знал Локонов. Он знал Германию Гете и Шиллера, Гофмана и Гельдерлина, но совершенно не знал, что представляет Германия сейчас, чем она дышит.

Этот немец, раскланивающийся с собачкой, напоминал ему скорее немца Шиллера из „Невского проспекта", чем реальную личность. Но все же Локонову захотелось подойти к немцу и завязать с ним разговор.

Локонов подошел к трамвайной остановке, но потом раздумал и подождал следующего трамвая.

Дома, за стеной, молодой голос пел:

Не плачь, не рыдай же мой милый,
И я тебя тоже люблю.

Локонов прислушался:

По тебя я давно, друг мой милый, страдаю,
Но быть я твоей не могу:
Отец мой священник, ты знаешь прекрасно,
А ты, милый мой, коммунист.

За стеной было дребежжание посуды. Повидимому, там мыли чашки, ножи и вилки. Сквозь дребежжание посуды слышался голос:

Советскую власть он не любит ужасно,
Он ярый у нас анархист.

При слове „анархист" Локонов улыбнулся.

И пала мне в голову мысль роковая –
Убью я ее и себя,
Пусть примет в объятья земля нас сырая.

„Романс", подумал Локонов.

И правой рукой доставал из кармана
Я черненький новый наган.

Локонов не стал слушать. Это не был романс, это было похоже на балладу.

Судьи, перед вами раскрою всю правду.

Локонов вспомнил своего отца, прокурора, любившего читать попурри и тем увеселять общество. Он вспомнил свою сморщенную мать. Нельзя сказать, что Локонов не любил свою мать. Нет, он любил ее. Так любят засушенный цветок, связанный с детством наших чувств.

В детстве Локонову по старой терминологии она казались ангелом. Он часто спрашивал у прислуги, ангел его мать или нет и прислуга отвечала – ангел.

В комнату ввалился Торопуло.

– Не больны ли вы? – спросил гость.

– Да, я болен, – ответил Локонов, и неизвестно когда поправлюсь. . .

– Это оттого, – ответил Торопуло, – что вы не мечтаете о сосисонах итальянских, о ростбифе из барашка с разной зеленью, об устрицах остендских, о невской лососине по-голландски. Советую вам заняться кулинарией, она излечивает лучше всяких лекарств. И какой простор откроется перед вами. Здесь вы сможете строить павильоны, украшать свой стол трофеями. И все это принесет вам прямую пользу. Вот приходите, я вас угощу. Закуска будет „канапе" с красным соусом, суп очень вкусный я для вас приготовлю, а на третье будет рис на ванили с пюре земляничным. И за столом мы поговорим о устрицах маринованных, о лапе медвежьей с пикантным соусом, о желе из айвы с обсахаренными розами. А затем я вам почитаю Фурье. Поверьте, он был не так глуп. Идемте, идемте. Я не уйду отсюда без вас! Советую вам заняться кулинарией. Вы увидите, послушаетесь меня – и через

неделю о своей тоске и не вспомните.

– Я сегодня иду на концерт, – соврал Локонов.

– Да ведь еда – это та же музыка, – настаивал Торопуло, причем ведь звук никак не окрашен, по крайней мере не в столь сильной степени и не столь несомненно окрашен, как различные блюда. А затем, все дело в том, что мы еще не умеем наслаждаться пищей, ведь и она звучит, еще как звучит! Тонкий и тренированный слух мог бы различить звуковые оттенки наливаемых вин, потрескиванье под ножом кожицы дичи, поросенка, влажный звук ростбифа. Все дело в тренировке. Ведь без тренировки великолепнейшая симфония нам может показаться какофонией. Наконец, вы успеете на свой концерт!

– Идемте. . . сказал Локонов, – я сейчас буду готов.

Всю дорогу Торопуло старался погрузить Локонова в мир ароматических рагу, прохладных желе, энергичных соусов. Локонов шел, вспоминая свои впечатления за день. Он чувствовал что от праздника у него осталось весьма смутное воспоминание, как будто Гостиный Двор, собственно, верхние аркады Гостиного Двора были украшены плакатами с гигантскими изображениями рабочих, как будто улицы у Домов Культуры были уставлены шестами с полотнищами или, может быть, со щитами, на которых были начертаны лозунги, да еще запомнился трамвай украшенный электрической красной звездой и флаг на каком-то здании, освещенный снизу и колеблемый ветром. Вот и все.

Была глубокая ночь. Они шли пешком, Локонов и движимый состраданием инженер, хотевший спасти молодого человека от излишных мучений, погрузив его в мир еды, в мир высоких отношений, запахов, в мир тягучестей и сыпучестей. Путь был длинен до зеленого дома. На доме пылала звезда. Как бы зарево от пожара стояло над городом.

В ворота прошли Торопуло и Локонов. Торопуло оставил в своей комнате на минуту гостя одного. Стол был накрыт на две персоны и украшен тортом.

Вернувшись, Торопуло снял торт со стола.

Локонов бежал от Торопуло. Локонов чувствовал, что мир Торопуло все тот же хорошо ему знакомый его собственный мир, только увиденный сквозь другие очки.

– Торопуло – эпикуреец – думал Локонов.

И на грех удивителен и страшен был торт Торопуло. Сладостные статуи из серебристого сахара стояли на площадках, а внизу, из бассейна, наполненного зеленоватым ликером, возникала Киприда. И на самой верхней площадке была помещена фигура, изображение Психеи. И вот этот торт присутствовал в мозгу Локонова, когда он возвращался домой в свою отдаленную комнату.

Но дойдя до дому, он вернулся к Торопуло. Он боялся одиночества в этом освещенном как бы пламенем городе.

Вот и прекрасно, что вы успокоились и вернулись, — сказал Торопуло.

Торопуло решил блеснуть сегодня.

Пока эпикуреец жарил, удалившись на кухню, неожиданно явился Пуншевич. Сел и стал рассматривать листы рисовой бумаги с бумажками от японских спичечных коробков.

— Вот и влияние Европы на Азию: голова лошади в подкове — символ счастья несомненно европейский. Вот и Геракл, раздирающий пасть льва — влияние греческой скульптуры. Вот и обезьяна на велосипеде, вот и варяг с бородой и щитом. Вот и бриллиант — все это дореволюционной Европы — беседовал сам с собой Пуншевич.

Торопуло, вернувшись, стал показывать Локонову конфектные бумажки.

Обертка от Пермской карамели, — сказал Торопуло.

— „Карамель столичная" — прочел Локонов, — должно быть, Петербург, — подумал он, — но мостов таких как будто нет в Ленинграде.

Локонов заметил множество маковок церквей.

— Москва, но и Москва теперь другая.

— Вот изображение негра, несущего огромный колчан и стрелы на фоне пальм — это для островов должно быть. Взгляните, индеец, стреляющий из лука — это должно быть для Южной Америки. А зайчики, и надпись совсем не японская, должно быть для Кореи. Да, да, несомненно, для Кореи, — решил Пуншевич. — Ну вот и для Китая знаменитая китайская императрица на белом коне возвращается в Китай из монгольского плена. А вот и китайский мальчик на сверхчеловеческой лягушке. А вот и чисто японские: старшая сестра учит брата письму, бог богатства, считающий прибыль, бог счастья и богатства и долгой жизни на аисте, ребенок сидит на лотосах и молится — в раю всегда цветут лотосы. Вот и европейский ангел, и обезьяны, поднимающие иероглифы радости. А вот и крылатый ребенок — европейский амур — бежит из Японии в Китай, держа в руках зажженную спичку — это является как бы символом экспорта, пожалуй, не только символом экспорта, но и японской захватнической политки.

Пуншевичу жаль было, что сейчас не удастся показать гостью эту коллекцию. Со вздохом он отложил ее в сторону.

— Полезно, — подумал он, — когда сквозь малое видишь великое.

В мозгу Пуншевича толпились аисты среди вечно-зеленых деревьев, живущие тысячу лет, обезьяны — пяницы — мать — обезьяна пьет вино, а дети просят. На быке рогатый, сверхчеловечески сильный ребенок играет на флейте. В звездах, в кругах — иероглифы счастья, радости и долгой жизни. Бородатый бог счастья и долгой жизни в кольце из аистов. Богач, сидя на веранде, любуется лотосами.

— Да, — сказал он, — полезная, полезная коллекция. Мы должны

догнать Европу, также как это некогда сделала Япония.

– По-прежнему ли народ весел? – спросил Пуншевич. По-прежнему ли разгулен? Раньше праздники имели связь с торгами и ярмарками. Религия и торговля соелиняли людей в города, а теперь, что соединяет людей в города – я не знаю, должно быть, выполнение пятилетнего плана. Несомненно, этот план собирает людей в новые корпорации, устанавливает связь между людьми. И если когда-то зерном города являлся царский дворец, Акрополь, то теперь зерном города будет являться завод. Вокруг него будут возникать строения, парки, он будет окружен аллеями, мостами.

Пуншевич задумался.

– Праздники народа, поэзия его жизни, имеют тесную связь с его семейным бытом и нравственностью с его прошедшим и настоящим. Попробую собирать праздники новой жизни для общества собирания мелочей, – с отчаянием подумал Локонов, – может быть это даст мне возможность почувствовать прекрасное лицо жизни.

И затем он вспомнил, как перед праздниками ехал воз с водкой, а за ним бежала толпа: передние держались за подводу, некоторые бежали с портфелями. Вспомнил, как баба хвасталась, что за пять рублей уступила место в очереди за водкой.

ГЛАВА 11

ГРОЗА

Клешняк шел.

Круглая площадь купалась в свете. Напротив Дома Культуры сиял универмаг. Казалось, что он совсем не имеет передней стены, дальше, бледнея, светились окна фабрики-кухни. Клешняк невольно остановился на ступеньках, залюбовавшись этой картиной.

— Вот здесь, где я стою, — подумал он, — был раньше трактир „Стоп Сигнал", а там, где сейчас Универмаг, стояли деревянные ларьки и возле них сидели торговки с горячей картошкой, а там, — он повернулся к Нарвскому проспекту, — там была в деревянном домишке казенка. Как мрачна была тогда Нарвская застава. Свиньи бродили, пьяницы валялись, кулачные бои, в жалких деревянных домиках горели огни, как волчьи глаза.

Клешняк пошел по улице Стачек в сторону светящейся круглой башни 68 школы. Вокруг него стояли новые дома. Временами в овале арки виднелись еще не снесенные деревянные домишки с деревянными резными заборами.

Клешняк шел все быстрее.

Справа, извергая из огромных окон снопы разноцветных огней, высился новый профилакторий, слева стройными шеренгами светились окна бань. На небольшой площади между корпусами Клешняк остановился. Прямо перед ним ярко светилось окно детских яслей, было видно как дородная нянька, высоко подняв дитя, меняла ему пеленки:

— Здесь я был арестован воровским способом, ночью, — задыхаясь подумал Клешняк.

Ему ясно представились утонувшие в воде огороды, осенний вечер, дождь, городовые, шашки, маленький домишка, остающийся позади.

Перед ним стоял новый, еще не оштукатуренный дом, но уже в нем жили. Клешняк вошел в дом.

— Посмотрим, кто здесь живет.

Позвонил, перешагнул крошечную прихожую, остановился. Вокруг стола сидели дети. На окне стояли фуксии и фикусы. Человек вышел из-за стола. У человека не было ноги.

Клешняк касался оригинальных рыжих кустиков под ноздрями, вынимал расческу и, подойдя к зеркалу, поправлял зачесанные назад, довольно еще густые волосы. Затем он смотрел в окно на Неву и вспоминал отсталый Киргизстан с его странными обычаями, своего помощника

по учебной части, умевшего ответить на любой вопрос, свою первую жену – учительницу, дочь купца. Затем мысль его устремилась к детству, в Белоруссию.

Заведующий школой смотрел на свой живот, живот ему не нравился.

– Оттого, что в детстве я по бедности ел почти одну картошку, оттого он у меня такой, – посочувствовал он себе.

Трофим Павлович подошел к окну. Давно он не был в Ленинграде. Трофим Павлович причислял себя к армии победителей, ему приятно было, что появились Дома Культуры, что город содержится чисто, что фасады домов свеже окрашены.

Он заходил во вновь разбитые скверы, садился на скамейку и в уме перечислял свои подвиги.

– Кормил вшей на фронте – раз, – он загибал палец. – Был партизаном – два, – он загнул второй палец. Болел сыпняком, – он загнул третий палец. – Отморозил ноги во время наступления поляков – четыре.

Страшная картина оживилась. Немцы поймали его и приговорили к расстрелу. В каждого стреляло восемь человек. Уже шесть человек упали, очередь дошла до Клешняка, он не выдержал и побежал. Четыре германца бросились за ним, стреляя.

Сидя в сквере, он вспоминал, как оккупанты заставляли его закапывать расстрелянных, что у расстрелянных оказывалась спина развороченной – еще бы, восемь пуль в одно место. . . А затем заставили его вместе с другими партизанами вырыть себе могилу.

Вечером Клешняк после осмотра города вернулся в свою комнату. Клешняк боялся художественной литературы. Вне зависимости от своего качества, вне зависимости от гения и таланта писателя, она страшно на бывшего партизана действовала. Взяв книгу претендующую на художественность, он не мог от нее оторваться. Он начинал необузданно переживать.

Возможно – эта чувствительность была следствием его ужасной жизни, австрийского плена, гражданской войны.

И сейчас он продолжал читать вещь отнюдь не пролетарскую, она ему казалась пролетарской, а потому бесконечно интересно полной смысла и значения.

Восхищаясь неудобоваримыми эпитетами, дюжинными остротами, выветрившимися сравнениями, Клешняк думал о себе, о своей богатой событиями жизни, о том, что жаль, что он не может описать свою героическую жизнь, передать свой опыт подрастающему поколению. Отсутствие образования часто мучило Клешняка – он кончил только приходскую школу – и заставляло его еще больше ненавидеть старый строй, когда оно было доступно только людям состоятельным. Ему казалось, что если бы его детство и юность прошли при другом

строе, то он бы стал совсем другим человеком, тогда – бы. . .

Клешняк ожесточенно курил.

Раздался звонок. Вошел Ловленков, Григорий Тимофеевич.

Годы гражданской войны, воспоминания о речных флотилиях и жизни, полной опасностей, подогревали их дружбу.

Конечно, Трофиму Павловичу не нравилось, что его приятель, бывший военный, ныне токарь, не отвык и частенько бывает на парусе, что он не желает сдерживать себя и по-прежнему выражается.

– Что, братишечка, все еще гриппом страдаешь? – спросил Григорий Тимофеич. – А я думал с тобой повинтить куда-нибудь. Пойдем к двум сестрам, пивка выпьем.

Но вместо заплеванного помещения Вены и Баварии попали они за город, в местность, наполненную дворцами, парками и санаториями, на гулянье.

Друзей встретили лозунги и плакаты. И приехавшие сразу же почувствовали себя, как дома. Над аллеями качались голубые и красные полотнища: „Культурно отдыхать", „Колхозное дело непобедимо", „За большевистскую партийность, чистоту марксистско-ленинской теории", „Братский привет пролетариям Германии", „В странах фашизма и капитала сотни миллонов рабочих и крестьян обречены на голод и вымирание".

С друзьями поздоровался товарищ Книзель, модельщик с седыми волосами, со знаком ГТО.

– Смотри-ка, – сказал Ловленков, – вот ведь 50 лет, а научился плавать с винтовкой и гранатой, ездить на велосипеде.

Ловленков и Клешняк шли по аллеям мимо статуй с итальянскими надписами, мимо витиеватых зданий. Парк был радиофицирован. Над головами друзей пели голоса и раздавалась музыка.

Шли партизаны. Шли ударники с соответствующими значками. Другие шли со значками ГТО, у кого ничего не было, тот шел просто с каким-нибудь юбилейным значком или жетоном, или с цветком в петлице. Приехавшим хотелось приукрасить себя.

Солнце палило, но еще невозможно было скрыться в тени деревьев.

Листья были малы и не образовывали сплошных потоков зелени.

Украшенными казались березы, липы, дубы и клены, а не отдетыми.

Трава, все еще ровная, как бы подстриженная.

Киоски с прохладительными напитками, пивом, конфектами и бутербродами разбросаны по парку.

Ресторан был открыт в галерее дворца, танцевальный зал в одном из павильонов. На эстраде перед нежной, созданной для царедворцев и дворян юной Ледой с распущенными волосами, удерживающей за шею лебедя, стремящегося приподнять покрывало – духовой

оркестр, расквартированного в местных казармах полка.

Под деревьями, преимущественно попарно, сидели девушки на чугунных или на деревянных скамейках. Красивая обязательно сидела с некрасивой.

Вдали с аэропланов на парашютах спускались летчики.

– Уж таких летчиков, как Пикар, мало найдется, будет вертеться, как спутник какой-нибудь планеты – обратился мужчина лет тридцати восьми к Ловленкову.

Военомору было приятно, что не стало больше нахальных нэпманов, что вместо них ходят водники, железнодорожники, электрики, текстильщики, строители автомобилей. Но вот мимо прошел инструктор фабрики изящной обуви, украшенный баками. В его одежде не было ничего экстраординарного, но его жена была наряжена странно и непристойно. Если эту зануду поставить на четвереньки и приделать к ее заду хвост, то она стала бы похожа на тигра – приблизительно таков был смысл остроты Ловленкова.

Здесь прогуливались Мировой, Вшивая Горка и Ванька-Шоффер. Здесь был и заведующий кооперативом во всем белом, с апломбом наслаждающийся воздухом.

Все столики были заняты. Клешняку и Ловленкову пришлось сесть за длинный стол, на только что освободившиеся два места в разных концах стола.

В галерею все время входили, все новые и новые толпы.

Официанты, как очумелые, носились. Чтобы подбодрить себя, они наспех пили, отойдя за боковые остекленные двери, пиво и, для чего-то перебросив с одной руки на другую салфетку, снова бежали почти ничего не соображая, к столикам.

Потемнело. Порыв ветра гнал тучи пыли, надувал юбки гуляющих женщин и придавал скульптурные формы женским фигурам. Деревья зашумели, как бы заговорили. Видно было, как в парке разбегается публика. На стеклах галереи появились отдельные капли. Блеснула молния. Ударил гром. Парк мигом опустел.

В галерее яблоку негде было упасть.

– Смотри, дождище то какой!

– Дождь нужен.

– Происходят они из одного класса, а души у них другие.

– Совести у тебя нет, у тебя совесть, как у нэпмана.

– Так вот я и говорю, будет этому вредителю гроб с музыкой.

– Что и говорить, в молодости дни летят, как огурчики.

– Кто линой, тот и толстой.

– Мой приятель женился на бабе в шесть пудов. Интересно, как он будет выглядеть!

– То есть, как выглядеть?

– Ведь это изюм на куличе.

– Вот так-то мы боролись с прорывом. Каждый в отдельности скулит: хлеба нет, масла нет, а вместе – удивляешься, сколько героизма.

Дождь перестал. В галлерее стало свободнее, да и время наступило вечернее. Многие из отдыхающих отправились на вокзал, но некоторым жаль было уезжать, и они решили окончить день здесь, уехать в город с последним поездом.

Опять стемнело и пошел проливной дождь, повидимому, уж надолго.

Клешняк сидел, окруженный Сципионами, Антонинами, Пиями, Ломоносовыми, Люциями Верами, Эпиминондами, Фоксами, философами, учеными, императорами. Огромные бронзовые подсвечники украшали галерею. Галерея кончилась мраморной группой. На столиках стояли цветы, в буфете продавали пиво. Там лежали бутерброды с голландским сыром, коржики, пряники, печенье. Рядом с Клешняком сидел немец рабочий. Узнав, что Клешняк заведует школой, он рассказал ему свою жизнь. Его отец переселился в Ригу из Мекленбурга. Арматурщик рассказал Клешняку, что еще в 1904 году он писал стихи на немецком языке, они были в свое время помещены в местном журнале, но что ему очень хотелось писать на русском языке, которого он тогда совсем не знал. Он рассказывал Клешняку, что он не думал, что русский язык так труден, вообще же языки даются ему легко, он знает эстонский, латышский и финский, теперь он знает русский язык, и давно прошло то время, когда он с трудом мог произнести слово достопримечательность. В свое время он со словарем читал Толстого, Пушкина и Белинкина, – Нейбур поймал себя и поправился, – Белинского, известного критика.

– Я боюсь употреблять характерные выражения, – продолжал он, – я ведь не совсем еще знаю русский язык, а писать страшно хочется. У меня много набросков. Был я на весеннем севе, кстати, добровольным порядком несколько колхозов сколотил. Я никого не принуждал. Был я в одном колхозе. Ему нужны были семена, а денег на покупку неоткуда было взять. Вдруг поднимается старик и говорит: Вокруг нас золото. – Все смеются.

– Соберем клюкву, – сердится старик, – продадим, купим у государства семена.

Все отправились, собирали, продали, и семенами колхоз был обеспечен. Материала у меня очень много. Есть у меня еще набросок маевки под Ригой. Думаю написать большую повесть о китайской революции. Есть у меня знакомые. Материалов страшно много, жаль, если пропадут.

– Конечно, жаль, – сказал Клешняк – как не понять, да и сам я стал бы писать, да нет у меня образования, отсутствие образования меня душит.

На другом конце стола сапожник, чокаясь пивом со случайным знакомым, утверждал.

– Волшебно работает ГПУ. Вот в одной местности какие дела были, то скот прирежут, то почту ограбят, то кооперацию разгромят, и следов никаких не оставляют. Бились, бились, вызывал из Ленинграда ГПУ. Приехали. Остановились в гостинице. Смотрят – в ресторане две девушки сидят, шикарно одеты по парижской моде, а откуда быть здесь парижской моде. Подмигнул один своей компании, взял у официанта салфетку и шасть к ним. Стал обслуживать. Слышит – девушки беседуют: славно мы почту обделали. Покушали они, платочками кружевными вытерлись, зонтики на ручки повесили, на ходики золотые взглянули, засмеялись. Пошли. А наши за ними. Видят – направляются барышни к одному домишке, на вид кляузному. Не успели агенты и мигнуть, – барышни точно в овраг провалились. Стоят, удивляются. Искали, искали, спустились – действительно, овраг, а в овраге комната битком набита девчонками и мальчишками, – беспризорники, значит. Одеты все так шикарно. Только долго не пришлось рассматривать, стрельба возникла. А атаманша у них в гостинице жила с фальшивыми родителями, дитя изображала, за ручку ее водили – было ей четырнадцать лет. Ой, сметливая баба! – сапожник отхлебнул пива и совсем склонившись к уху своего собеседника, стал шептать, потом снова отхлебнул и почти закричал: – Истреблять таких гадов нужно!

– Вы говорите, – врачи-шарлатаны, а вот какой случай, проявил активность демобилизованный пограничник. – Было это лет шесть тому назад. Два дервиша перешли персидскую границу. Вечером раздалось пение этих индусов у чайханы. На ночь они остановились у муллы во дворе мечети. Только утром одного из них находят мертвым. Завернули жители труп в саван честь честью положили в узкий ящик – этот ящик всех покойников обслуживает. Отнесли на кладбище, вынули из ящика, похоронили. Второй, уже один, снова поет псалмы у чайханы. Падает в беспамятстве. Выбегают из чайханы аксакалы, шепчутся, ждут, что скажет дервиш. Но дервиша отвозят в больницу. В больнице в то время лежало восемь больных мужчин и шесть женщин. Заведывал ею Егоров, а сторожил ворота Пурала, старик, тюрк. Между ног его стояла винтовка. Вот положили труп на операционный стол. В окно видит Егоров, проходит по базару друг его Кохман. Для соблюдения формальностей зовет его присутствовать при вскрытии трупа. Был Кохман врачем пограничной комендатуры. Понятно, как судебного врача позвал Егоров его, ведь индусы перешли границу незаконно. А когда вскрыли Егоров и Кохман труп, увидели они легкие в белых пятнах – побледнели и переглянулись, поняли, что им уже не жить больше.

Побежал Егоров к Пурале, велел ворота запереть, никого не

выпускать и не впускать, потому что в больнице произошла великая кража – пять тысяч рублей денег.

Вот запер Пурала ворота, стоит с винтовкой, ни фельдшера, ни сестриц с работы не выпускает. Кохман не ушел, хотя у него был револьвер.

Надо сказать, больница-то стояла на пригорке, на окраине селения и окружена была высокой стеной. Вот с этой-то стены и кричит Егоров проходящим по базару, чтоб позвали уполномоченного ГПУ и председателя Райсовета. Им говорит со стены, что обнаружен случай легочной чумы, чтоб немедленно послали шифрованную телеграмму в Бейбат наркомздраву, а что он сам заперся в больнице, и чтоб ее моментально отделили от селения.

Первым делом пришел из погранохраны батальон, оцепил больницу. Таким образом изолировал ее совершенно.

И вечером в чайхане, спокойно покуривая териак, седой гайдар Али, поглаживая бороду, говорил, что, конечно, дервиш – эмиссар английского падишаха, откуда могут быть в больнице такие деньги.

С утра опять скрипели арбы и пели кочевники, пригнавшие баранту.

Из центра прибыл эшелон и двойной цепью окружил все селение. В больнице все узнали в чем дело. Первым заболевает доктор Кохман.

Фельдшер пытается перелезть через стену и спастись. Егоров его настигает и убивает.

А подошедшие части велят жителям выйти нагишом, ничего не брать с собой, и все дома сожгли из огнеметов, жителей вывели в карантин. Через шесть дней в больнице все умерли, все трупы по приказанию Егорова были вынесены во двор. Так Егоров умер последним. Тогда трупы сожгли из огнеметов, а больницу окурили газом.

Конечно, такого врача забыть нельзя, вечная ему наша благодарность. Конечно, после смерти, Егоров был награжден орденом Красного Знамени, семья получила единовременно десять тысяч рублей и пожизненно оклад жалованья.

– А я там потерял невесту, – неожиданно закончил пограничник.

За этим же длинным столом говорил царский солдат комсомольцу:

– На охоту мы иногда ходили, белок, ворон стреляли, а чтоб неприятеля – никогда. Как придешь с разведки, идешь на охоту белок, ворон стрелять. Был у нас подпрапорщик, имел все четыре степени креста и все четыре степени медалей. Вот были мы в разведке. Как малейший шорох – все валились. Слышим кричит он. Слева, немец! Все мы и убежали и подпраподщик вместе с нами. Остался один прапорщик.

Вернулся он из разведки.

– Как вы смели начальника бросить?

Стал бить по морде.

Он вообще бил по морде.

В разведку пошли и прапорщика шлепнули. За ноги взяли и тащили. Голова по камням – так-так-так. С берега Двины сбросили. Храбрый был, гадина. Всем велит прятаться, а сам не прячется. А за то убили, что бил по морде. Там убить было простая музыка. Во время наступления ни черта не увидишь. Отправили этого офицера в Черниговскую губернию на родину, поповский сынок. А знаешь, какое наказание на фронте было? Если солдат провинится, то ставит его под ружье на окопе открыто, стреляй, немец! А немец знал, никогда не стрелял.

За этим же столом сидел Локонов. Перед ним лежала раскрытая книга.

– Что вы читаете, – спросила незнакомка.

– Сказки Щедрина.

– Как вам не стыдно, взрослому человеку сказки читать, – возмутилась девушка.

Локонов посмотрел на нее и на ее значок ГТО.

– Это политические сказки, – ответил он.

– Тогда другое дело, – сказала девушка. – Я из пятидесяти сорок пять попадаю в мишень, – продолжала она, хотела бы я спуститься на парашюте. Вы никогда не спускались? – спросила она.

– Не спускался, вместо Локонова ответил задумавшийся Клешняк. – В то время у нас парашютов не было. Это теперь аэропланы все, прежде, в партизанской войне, конь все. И победу принесет, и от плена избавит. Сами голодали, а своих коней кормили.

– Конь и в будущей войне будет нужен, – сказала девушка. Я это знаю, я на коне умею ездить, обучалась.

– Э, черт возьми, – сказал Листяк, оглядывая удовлетворенно длинный стол. – Вот тут проходил я мимо санатории, дюже хорошо быть доктором. Он над своим обидчиком, что ведьмак может подшутить, он не станет палить из револьвера, панику делать. Всего лучше быть хирургом, так мыслю. Жил в Таганроге хирург, – Листяк подмигнул всем собравшимся. Заметил, что жинка ему изменяет, уехал будто дня на три, а сам тайком вернулся. Входит тихонько в спальню, видит, жена с любовником обнявшись спит. Дал он им еще снотворного, вынул инструмент из желтенького чемодана, злодея своего выхолостил, зашил шелковой ниточкой все как полагается, и ушел, как будто его и не было. Мыслю так. Солнышко светит. Просыпается парень, глаза протирает, чувствует резь. Взглянул, что за неприятность, и обмер понять никак не может.

– Не с тобой ли это произошло? – толкнул парень Листяка.

Глуховатый помощник машиниста, бывший клепальщик,

работающий на 5-м ГЭсе, стараясь, чтоб слышали все, рассказывал своей жене. – Вот мы во дворце теперь, а прежде? Ты не знаешь, молода. Фабричные при Александре III-м, что черти жили, а вот такие девчоночки, как ты, еще плоше жили. Возьмут пару селедок – в кипяток. Сварят этот кипяточек, похлебают – вот и обед весь.

Раньше ручная работа была, раньше все пердячим краном поднимали. Чернорабочий получал, поднять и бросить, шесть гривен в день. Вот и живи! – он обвел глазами окружающих. Попотчуешь старшого и не раз, последнюю шкуру сдирает с человека. Потом он и взял меня к себе – сорок пять рублей.

Опьяневший помощник машиниста, сидя прямо, как бронзовый истукан, смотрел на сновавших, очумевших официантов, затем снова раскрыл свой огромный рот и громко продолжал свой рассказ.

– Потом на сборку паровоза, опять попотчивал, да двадцать пять рублей сунул сухеньким!

Говорит он мне:

– Всю партию угости, двадцать пять человек. Ты не скупись, а то и вон выгоним, ничему не научим!

– Ты слушай меня, – обратился он к своей молодой жене, – пришло время – воскресенье. Пол-ведра водки, пиво, колбасы, ветчины, рыба – пятьдесят рублей пришлось истратить. Стал получать я уже трешку. Годков через пять стал я уже получать сто сорок в месяц. Я и одежонку справил, бабенку из деревни взял и за двести пятьдесят рублей шубу купил.

В партию в девятнадцатом году вступил, – обратился он к Ловленкову. – Вот когда я вступил. Послали меня сначала на реализацию урожая в Самару, а потом на продразверстку в Лугу. Хорошо было. Ешь яичницу хоть из десяти яиц, а теперь заработаешь на заводе гроб один, не то, что шубу хорьковую. Брата-то у меня раскулачили! – оживился он, – Накрал, подлец много, серая деревенщина, разжился, меня не признавал. Изба с сенями, с погребом, рига с гумном после смерти отца мне досталась, а я ему за семь пудов ржи уступил, вот как драл! Пользовался тем, что у нас в Питере голод был. Деревня обнаглела! Перчатки во какие, в избах занавеси тяжелые, шерстяные, а зеркала не входят – прорубают пол, яму выроют. Кровати никелевые. И вот курицы сидят и гадят на кровати. Сани плетеные, сбруя, шапка каракулевая, вот каков мой братец: вот какие они сладкие деревенские кулачки! Гармони у них немецкие, в каждой деревне десяток велосипедов, в избе у братца две швейные машины были, по праздникам носил часы золотые по будням серебряные. Нынешним годом все отобрали: могу только приветствовать. Дочка у меня геолог, – обратился он к Клешняку, – Нынче на практике, на Урале. А я и в гражданской войне участвовал на защите Ленинграда, тогда Петрограда, взяли одиннадцать танок, сняли попа с колокольни. С колокольни стрелял из пулемета.

– Помнишь, как казаки наших, – обратился Ловленков к Клешняку, – разденут до гола – ты моряк – ныряй в прорубь. А хорошо казаки ездили верхом, даже бабы! Удивительно, как не разорвутся. Ездят на лошади и учатся, лежачих саблями рубят. Помнишь, старина, гроза продолжалась. Дождь лил, как из ведра. Ручьями с пригорка к пруду бежала вода.

– Никогда не забуду, – вмешался Клешняк, – Я лежал на дороге раненый, вижу красные лица австрийцев, вокруг горят деревни, наши бегут, пулеметы бьют, высекают искры из гравия – вот эти-то искры я никогда не забуду, пустяк, а навсегда запомнились. Помню я еще такой же пустяк: у нас в окопах, конечно, было грязно и вдруг вырос над нами куст незабудок – окоп был из дерна, на краю окопа он вырос. Все мы смотрели на него и улыбались, – Клешняк задумался. Он вспомнил свою попытку бежать из плена и адский труд за это на итальянском фронте.

– Как ослу, мне приходилось таскать на себе снаряды и провиант снизу, где было тепло и шел дождь, в морозные горы. Одежда, ставшая мокрой от пота, там оледеневала. Так изо дня в день снизу вверх, сверху вниз, пока человек не падал. Тогда нас отправили в госпиталь с диагнозом – истощение и катар верхушек. После такой передряги мы в госпитале жили некоторое время, а потом загибались. Как начнем загибаться, камфары нам вспрыснут и устроят искусственное дыхание. Сад был перед госпиталем, росли маки, мы все пытались их скушать, точно не могли обеда дождаться. Более сильным больным нас из жалости отгонять приходилось.

Все это ерунда и выеденного яйца не стоит. Был и я в туберкулезном лагере в Богемии. Нас там было сто одна тысяча. Вокруг горы, сосновые леса, а мы ничего, жили. Правда, в сутки человек двести пятьдесят умирало. Были среди нас и черногорцы и сербы, и итальянцы, нагляделся я тогда, а вот и сейчас жив.

– Чистота была такая, только шамать было совсем нечего. Лучше итальянских докторов нет на свете. Русский через полотенце тебя выслушивает, а итальянец не брезгает, своим чистым ухом к груди прикладывается. Потом я был обменен. Вынесли меня на носилках на границах, стал я в гражданской войне участвовать, поправился.

Справа за отдельными столиками:

– Старик беззубый, а курицу каждый день требуешь!

– В кушаньях должна быть смысль!

– Солененькое призывает выпить. . . хороша селедочка!

– Сейчас бы скушались парочка хорошеньких яблочек, лучше чем чай.

– Крадлив ты очень, вот тебя и выгнали.

– Да ты не бери единичные случай!

– Что ж тебе брать всемирные?

За длинным столом:

– Быть инженером, иметь целый мир в голове, – сказал Клешняк.

– Был я на Кавказе – бродят там инженеры по горам, как серны.

– У меня плохой аппетит.

– Аппетит? У тебя и так корова пролетит!

Слева за отдельными столиками:

Престарелый муж раздраженно своей престарелой жене:

– У тебя, Таня, птичий ум, ты этого не замечаешь, это твое счастье.

Поднимаясь из-за столика, бородач:

– Живот не зеркало, чем набит, набил, ну и ладно.

Усач:

– Живот не зеркало, в него не смотреться.

1-я пожилая женщина:

– Питер-то наш приукрашается. Любая улица, возьмите, вся в цвету.

2-я пожилая женщина:

– Ленинград мне апатичен. Какая-то в нем укоризненная чистота.

Бывший солдат царской армии, прямой как палка, спускаясь по лестнице:

– Рабочий класс должен погибнуть, как швед под Полтавой.

Прекрасная луна появилась. Облака плыли под ней и над ней.

Изредка они ее заслоняли.

В парке под первым деревом:

Первый пошляк: – не говорите о температуре, все равно, вы темпераментной не будете.

Второй пошляк: – Зачем я поеду в Перу, когда у меня есть перочинный нож?

Под вторым деревом.

Молодой человек служит в Эрмитаже, говорит медленно:

– Я долго думал о японских гравюрах. . . По-моему. . . они бывают трех родов. . . хорошие. . . средние. . . и плохие. . .

Под третьем деревом:

– Мой приятель получил массу денег, он не знал, куда их деть, он решил приготовить крюшон!

На первой скамейке. Вдова говорит своей подруге:

– Сердце у меня весеннее, тело осеннее. . .

– Иди ты, – раздался голос, – горячим ситным Александровскую колонну обтирать!

По лестнице пошатываясь и ругаясь, поднимались две фигуры. Одна вела другую.

– Не веди меня, я сам дойду! – вырываясь, произнесла одна из инх и растянулась.

На дорожке у пруда:

– Нет, врешь, отошла твоя святая Русь, одетая в черную рясу с переди, а мундир сзади.

Прямая, как палка, фигура оскорбленно уходит.

На дорожке у позолоченной статуи вспыхивает спичка, освещает бородатое лицо.

– В Тифлисе на горе, над Курой в Метехском замке при меньшевиках была тюрьма. Мы ее называли раем! Из всех стен ключи били!

В беседке в китайском стиле сидят вузовцы:

Один из них:

– Вхожу я в каюту. Вижу, сидят три грека. Стоит на столе хурма. Греки в преферанс играют. Стали они меня спрашивать, почему в Германии революцию рабочие не устраивают. Принялись хвалить советскую власть. Это значит, стали меня испытывать. Я молчу. Только утром встал я, чтоб пройти к умывальной, чувствую, пустой, взял другой, тоже пустой. Удивился. Взял третий – тоже не тяжелый. Понял я, что это контрабандисты из Ялты в Сухум за табаком едут.

– Вот они вернулись и с ними четвертый. Сели за столом, стали закусывать и пить, смирнские ягоды вспоминать, о своих знакомых рассказывать. Я лежу на койке, точно книжку читаю. Пили, пили. Вот один и говорит.

– Был у меня компаньон, Костя Терзопуло. Потом я узнал, он известный фармазон. Я думал, он честный человек. Я тогда гастрономический торговля держал, хорошо торговал, сам Юсупов у меня вино брал. Ялта тогда совсем другой город был. Приходит весной ко мне Костя, говорит: Твой капитал, моя работа, давай деньга, ресторан откроем. Большой деньга получим. Открыли. Торгует, торгует Костя, а деньга нет. Прихожу, вижу, всех знакомых красивым жирным куском угощает. Я говорю ему: – Что ж ты, Костя, людей задарма кормишь. А он смеется и возражает – Надо чтоб нас любили. Ты не беспокойся – нужных людей кормлю, потом деньга будет.

– Жулик, а красив, Мускулы, честное слово, французские булки. Большой несчастье случилось. Жена его шашлык многа покушал. Полный женщина такой, красивый. Жил Костя прямо князь Юсупов. Квартира, зеркала, кровать мягкий. Любил свой жена очень. Позвал доктора знаменитый. Тот подходит, жена осматривает.

– Ничего, говорит, – не беспокойся, слабительный нужно.

– А жена через несколько часов помер.

– Достал Костя наган, клялся.

– Жив не буду, убью шарлатана.

– Ходил по Ялте, ходил и раздумал. Пришел на кладбище.

– Ты, – говорит звонарю, – в три часа выстрел услышишь, во все колокола звони, чтобы все слышали.

Деньга тому человеку дал.

Пришел домой, сел за стол, пишет и пишет, написал всем нам записке, в час дня приходи ко мне в гости.

Пришел мы, стучал, стучал, не отпирает. Глядим в дверной дырочка – видим Костя за столом сидит, лицо у него белый, наган у виска держит.

Стали мы дверь колотить, кричать:

– Не кончай жизнь самоубийством.

А он тоже кричит:

– Не ломайте, сначала вас убью, а потом себя.

Выбежали мы на улице, народ собирать, спасать Костя. Взглянули вверх, видим, Костя стоит во весь фигура на окне, в рука наган держит. Сбежался народ прямо тысячи, а он опустил наган и начал покойница хвалить.

Притащил мы пожарный лестница, сам комендант базара по ней взобрался, уговорить хотел мой компаньон, но Костя угрожать наганом стал.

Долго речь к народу держал, бабы реветь стали. Вдруг бросил народу свой часы золотой, чтобы могильный памятник ему и жене поставили, взял дуло наган в рот и выстрелил.

Вот бим-бам-бом зазвонили все колокола.

Мы даже испугались.

Да, любил он свой жена.

Всю ночь контрабандисты беседовали, прямо спать не давали, а затем песни стали петь и совсем откровенничать.

– Ну, это мелочь, какие это контрабандисты, крупных мы-то повывели.

– И эту мелочь выведем.

Клешняк, останавливаясь на мосту:

– Вот был какой случай. Девочка киргизка ночью приехала верхом в ГПУ. Двенадцати лет отец ее продал шестидесятидвухлетнему старику, как жену. Старик издевался над ней, изнурял тяжелой работой, пытался изнасиловать. Старика осудили на 10 лет со строгой изоляцией. А он на суде:

– Если не я, то мой род убьет тебя. . .

Девочку суд отдал в детдом, решил считать без отца, без матери.

В беседке в турецком стиле, за шахматами:

– Я тебя, как Чемберлена, поставлю в тупик.

В глубине парка.

На полуострове.

Первый хулиган, послюнив карандаш, тщательно выводит на колонне:

Зачем же спереди и с тыла
Ты хочешь вызвать то, что было.

Второй хулиган, сидя на дорожке, напевает:

Ах, эти рыжие глаза
В китайском стиле,
Один сюда, другой туда,
Меня сгубили.

Отрывает.
Первый хулиган, кончив писать, отходя от колонны:
– Где Вшивая Горка?
Второй хулиган, сидя:
– Он пошел проводить бабу.
Первый хулиган:
– Колотушки с собой?
Второй хулиган, поднимаясь:
– С собой.
Уходят.
Появляется Анфертьев с женщиной.

У искусственных развалин парень с девушкой. Парень декламирует:

Свободу я благословляю,
Но как-то грустно мне порой
Господский дом в деревне видеть
Уж запустелый, не жилой.
        Закрыты ставни, заколочен. . .
        Безносый лев на воротах
Нам говорят красноречиво,
Что с носом был при господах.

Час был поздний.

Павильон для танцев был освещен. Из открытых дверей неслась музыка.

За столом сидел шумовой оркестр, ноты лежали на столе, музыканты сидели на зеленых садовых скамейках. На старинном полукруглом диване, с резными ручками в виде лебедей, сидели зрители.

Восемь пар танцевали танго.

Павильон был расписан в помпейском стиле. У потолка на стенах неслись колесницы, пели птицы, висели гирлянды, змеились арабески.

Мировой с незнакомой девушкой танцевали танго. О, этот когда-то бешено модный танец.

– Знаете, – сказал он:

Не знал ни страха, ни позора,
И перед смертью у забора
Пропел последнее танго.

Вшивая Горка и Ванька Шоффер сидели на диване.

Когда Мировой и незнакомая девушка кончили танец, зрители зааплодировали.

– Нечего в ладоши хлопать, – сказал Мировой, подводя девушку к дивану, – в молодости мы еще не так отплясывали.

В это время в павильон входили Ловленков и Клешняк.

Вот плац для танцев, пойдем, посмотрим на семизарядное танго-кадриль, – сказал Ловленков, – я на эту гадость – танцы жаден.

Мировой, Вшивая Горка и Ванька-Шоффер удалились.

Утром сторож сокрушенно у памятника Екатерины:

– Эх, гады! Безбородку с задом оторвали и унесли. . .

ГЛАВА 12

ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

Незаметно для себя Анфертьев дошел до Васильевского Острова.

– Вот что, – сказал Анфертьев, – я написал песенку.

Гуляка запел:

Где живет старый хлам,
Бродят привидения,
И вздыхают по балам,
По прошедшим вечерам
И о нововведениях.

Жулонбин работал. Он занят был классификацией свадебных букетов.

В руке он держал засохший подвенечный букет из белых цветов и миртовых веток.

Перед ним лежали букеты с серебрянными и золотыми цифрами „25" и „50".

– Для меня, – сказал он, – старый хлам не живет, я его только систематизирую, для меня вещи не имеют никакого наполнения, я занят только систематизацией. Вам не удастся меня смутить.

И Жулонбин снова погрузился в систематизацию.

Разговор не вязался.

А Анфертьеву, как он выпил, необходим был собеседник. Локонов жил далеко, в Выборгском районе.

Анфертьев успел по дороге забежать в пять или шесть пивных и побеседовать с завсегдатаями. Беседы не были вразумительны.

Один ему рассказал, как у него из кармана непонятным образом исчезло 20 рублей.

Другой, прося взглянуть на проходимца, уверял что это аферист, потому что тот когда-то пытался выпить на счет собщающего.

Третий рассказал о каком-то телеграфисте, прохвосте, который в пивных торгует водкой и закусочкой в виде кусочков селедки.

Слушание этой невнятицы отняло у Анфертьева часа четыре.

От пивной к пивной путешествовал Анфертьев, подбадривая себя понравившейся ему песенкой.

Где живет старый хлам,
Бродят привидения, и т.д.

Он даже решил было исполнить эту песенку под окном у Локонова, спеть ее в виде серенады, взять знакомого гитариста. Он даже уже было забежал к знакомому инвалиду на культяпках рыночному музыканту, но потом вспомнил, что тот наверняка в этот час пьян, как стелька.

Наконец, побежал Анфертьев прямо к Локонову.

– Все мы разбрелись по сжатому полю, – размышлял Локонов, – и собираем забытые колосья, думая, что делаем дело, и в то же время новые сеятели вышли на свежую ниву, приготовляя новую жатву и торжество нового принципа. Пуншевич, по-видимому, надеется, что из мелочей и подробностей построится довольно полная характеристика века и периода.

Локонову показалось, что во дворе ветер засвистел флейтой, затем как бы зашелестел травой и повеял шопотом листвы затем завыл и сквозь вой ветра Локонов услышал:

Где живет старый хлам,
Бродят привидения,
И вздыхают по балам,
По прошедшим вечерам
И о нововведеньях.

Затем он увидел, что к окну прильнула чья-то рожа.

Локонов подошел к окну.

Рожа не пропала, напротив, она принялась радостно улыбаться.

– Как мне отделаться от этого пьяницы? – подумал он. – Ни за что не отопру. Погашу свет, пусть думает, что я сплю”.

Локонов повернул выключатель и лег на постель.

Но Анфертьев не уходил.

Он принялся барабанить по стеклу, чтобы обратить на себя внимание.

Локонов повернулся к стенке и попытался думать о чем-то постороннем, не относящемся к появлению Анфертьева, он стал думать о Нат Пинкертоне, Ник Картере, Шерлок Холмсе, книгах, прочитанных им за день. Убийства из-за наследства, кражи со взломом в фешенебельных особняках, нотариусы, японские шпионы похищающие документы, обладание огромными богатствами, исчисление богатства по количеству рабочей силы, занятой на предприятии – все это кончилось.

– Ушел или не ушел? – прервал Локонов свои мысли.

Он повернулся лицом к окну.

Анфертьев по-прежнему стоял у окна и смотрел в комнату.

Пусть стоит, – рассердился Локонов.

Без глубины эта книга, без глубины – подумал он о соннике Артемидора, – а ведь прошла сквозь века, может быть также пройдет

Нат Пинкертон. Какая чушь в голову лезет! А мать моя бывший ангел превращается в сову, она становится бессмысленной старушкой. Сидит и бегает и ничего не понимает, только и делает, что в очередях разговоры слушает. Может быть, это и есть то, что называется общими интересами. Узнает, что у старика кошелек вытащили, или что женщина нечаянно палец отрубила и не нашла."

За окном Анфертьев рыночным голосом запел:

Вас хочет потешить
Большим представленьем
Слуга ваш покорный
С нижайшим почтеньем!

опера „Паяцы", ария Канио (1-е действие). И опять забарабанил в окно.

– Пожалуй, разобьет стекло, – встревожился Локонов, – выйду, скажу, чтоб не приставал.

Локонов зажег свет, надел пальто и вышел. Стояла прекрасная ночь. Луна светила, снег блестел.

Локонов не застал Анфертьева у окна.

Гость, подняв воротник, сидел на скамейке под березой.

Анфертьев поднялся, протянул руку и сказал:

– Вот вы вышли, идемте погулять.

– Ну что ж, идемте гулять. . . – согласился Локонов.

– Куда же мы пойдем? – добваил он.

– Да вот, пойдемте в сторону города, – ответил Анфертьев. Мимо этих, вновь выстроенных поблескивающих домов, фабрик, и заводов. Небось не приглядывались к новой архитектуре при свете луны. До сих пор ведь вы жили в центре среди этаких ампирных зданий, дворцов в стиле барокко, соборов, правительственных зданий и доходных домов времен империи. Посмотрите при лунном свете на другие дома, как они выглядят ночью, горят ли в них огни, несется ли музыка. Обойдемте Дома Культуры.

– Я согласен, – ответил Локонов, – попытаемся предвосхитить будущее.

– Итак, – начал Анфертьев, – вот за мостками и березками новый завод. Что вы знаете о нем?

Локонов не ответил.

– А ведь живете вы рядом. Почему же вы не поинтересовались, что представляет собой этот завод? Нехорошо, молодой человек, – хихикнул Анфертьев, – ведь завод окончил пятилетку в три года и теперь его изображение появилось на конфектных бумажках, мне инженер Торопуло показывал, а вы и этого не знаете.

– Скоро, скоро, – воскликнул гуляка, – перед этим ударным

заводом будет разбит сад, прорыты канавы, через них будут перекинуты изящные мостики, кое-где появятся клумбы, чтобы трудящиеся идя на предприятие, шли бы по зелени, чтобы труд превратился в букет, бутон, наслаждение.

– Пошляк, – подумал Локонов.

Откуда-то выбежала собака и залаяла на Локонова и Анфертьева.

– Поди прочь, песик, – сказал Анфертьев, – Не мешай нам любоваться городом. Вы сильны в астрономии? – спросил он. – Мне хотелось бы вспомнить, в каком зодиаке созвездие „Пса" помещается.

Но тут Анфертьев споткнулся.

– Жаль, – сказал Анфертьев, – что я не захватил с собою винца. В такую ночь выпить хорошо и тогда, знаете, как архитектуру начинаешь понимать. Бррр. . . Здание звучит для тебя, как симфония. Люблю я в пьяном виде дома рассматривать. Другое здание такой увертюрой распахнется, что даже пальчики оближешь. А другой домишко затренькает, как балалайка. Хотите узнать музыку новых домов. Только шалишь, без водочки ее не узнаешь. В водочке восторг, милый друг, заключен, восторг. Вот бы выпить сейчас при лунном свете.

Звезды сияли над Локоновым и Анфертьевым.

Лай дворняги уже слышался где-то вдали.

Анфертьев и Локонов шли мимо огромных многоэтажных зданий из стекла, железа и бетона.

За этими зданиями, на некотором расстоянии виднелись другие такие же здания, за ними еще и еще.

Эти здания не образовывали улиц.

– Не угодно ли вам узнать, как звучат эти дома? – спросил Анфертьев.

Локонов закурил.

– Подумать только, – сказал Анфертьев, – что центр города почти не изменился с семидесятых годов. Если б приехала в Ленинград какая-нибудь старушенция, не бывавшая в нем с семидесятых годов, то она почти бы и не заметила, что произошли великие перемены в мире. Она бы снова пошла по Невскому проспекту, обратила бы свое внимание на несколько новых зданий. Это были бы преимущественно, банки. Она пошла бы по Надеждинской, по Вознесенскому, по Кирочной, по Шпалерной, по Жуковской, по переулкам – все по ее мнению осталось бы, как прежде. В дни нашей с вами молодости город любил изящные и дешевые миниатюрки, город был наполнен ими. Ум и юмор служили средством к приманиванию покупателей. Например, вот в этом магазине, насколько вы помните – были такие безделушки: камердинер держит свечу и служит таким образом подсвечником, или пеликан, клювом отрезающий конец сигары.

Луна освещала Анфертьева и Локонова.

Локонов молчал.

Анфертьев замолчал тоже.

– В каких же сновидениях эта местность могла бы нуждаться, – подумал он иронически. Многие сновидения вышли из моды, например, рождественские сновидения: посеребренные ветви и шишки, елки, усыпанные несгораемой ватой. А у меня, между тем, порядочно такого товару. А в общем вся моя беда в том, что я торговлю презираю. А то бы я нашел сновидения, нужные для данного времени и данной местности".

– Не кажется ли вам, – спросил он Локонова, – что торговля сновидениями, – это, пожалуй, самый гнусный вид торговли. Вы нуждаетесь в определенной мечте, и я, ловкий торгаш, поставляю ее вам. Но не всегда я был таким, не всегда я промышлял торговлей. Хотели бы вы молодости? – спросил Анфертьев. – Иногда я задыхаюсь от жажды вернуть уверенность, что я на что-нибудь способен, увидеть прекрасным и достойным всевозможных усилий мир.

Локонов молчал.

– Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не в географическую, а в некую умопостигаемую Италию, под ясное не физическое небо и под чудное, одновременно физическое и не физическое солнце.

Локонов давно уже сидел на ступеньках и делал вид, что дремлет. Ему мучительно было слышать слова Анфертьева. Ведь то, что называл Италией Анфертьев, была его страна сновидений.

– И женщины в моей Италии, – продолжал Анфертьев, – совсем другие, вернее, там нет множества женщин, они все сливаются в один образ той, которую мы ищем в юности.

Локонов стал слегка похрапывать, свистеть носом, но Анфертьев продолжал:

– И вот, собственно говоря, что же остается, когда мы достигаем сорокалетнего возраста, или может быть тридцатипятилетнего возраста, от этой женщины и от этой прекрасной страны Италии. Они превращаются в сновидение, и мы начинаем предполагать, что мир вокруг зол и пошл, и прекрасное пение соловья превращается для нас в темпераментную песенку.

– Мы двойники, – подумал Локонов, – совсем двойники и должно быть детство и юность были в своем существе совершенно одинаковы".

Наступал рассвет.

Анфертьев, думая, что Локонов спит и вспоминая, что сырость для спящего опасна, решил разбудить своего спутника. Анфертьев смотрел на свесившуюся голову, на полуоткрытый рот, на бледное лицо тридцатипятилетнего человека. Затем гуляка подошел к парфюмерному магазину и стал рассматривать свое отражение в зеркале. Пожилой, бородатый оборванец с красным носом стоял в магазине.

– Да, – сказал Анфертьев, – и стал будить Локонова.

– А, – произнес Локонов, делая вид, что просыпается.

Затем он, как бы бессмысленно, посмотрел на будившего. Но постепенно глаза Локонова стали приобретать осмысленное выражение. Затем он поднялся.

– Где мы, – спросил Локонов.

– Уже утро, – вместо ответа сказал Анфертьев, – Идемте, опохмелитесь. Одна старушка недалеко здесь шинкарствует.

– Из любопытства что ли пойти, – подумал Локонов.

Возвращаться домой ему не хотелось.

– В трактире выпить, конечно, веселее, там знаете, как-то все ироничнее воспринимаешь. Например, пиджак кто-нибудь за четыре кружки продает и вообще все окружено какой-то дьявольский атмосферой. Ну что ж, выпьем у шинкарки, а потом и в пивную пойдем, а после на рынок отправимся, послушаем уличное пение, увидим плачущих слушателей, а потом пойдем покатаемся на каруселях, покачаемся на качелях под разбитую музыку и поглядим сверху на народ, толпящийся вокруг.

Локонов согласился с этим планом.

Анфертьев и Локонов сидели верхом на лошадках, неслись по воздуху под украшенным бисером балдахином. Изнутри неслась музыка, впереди неслась нежно обнявшаяся парочка.

Торгаш и покупатель опьянели, музыка, несшаяся изнутри карусели, казалась им народной и почти прекрасной.

Торгашу и покупателю хотелось нестись и нестись, вылетать на какой-то простор и лететь, лететь ради самого полета.

– Музыка смолкла. Карусель остановилась.

– Куда же мы теперь пойдем, – спросил Локонов, слезая с коня.

На следующее утро, проснувшись, Локонов вспоминал, что он вчера вместе с Анфертьевым попал к девицам, что было там очень много выпито, что девицы пели какие-то дикие романсы, что Анфертьев аккомпанируя себе на гитаре, украшенной ленточками, пел какую-то итальянскую арию из какой-то забытой оперы, что потом пошла какая-то дикая возня.

Как он попал в свою комнату, Локонов вспомнить никак не мог. Локонов, пошатываясь, встал, открыл окно и обернулся. Неожиданно для себя он увидел Анфертьева. Анфертьев спал голый на полу у дверей. По-видимому в пьяном бреду он совершенно разделся. Локонову захотелось пить. Стараясь не будить Анфертьева, он поставил кипяток и сел на окно.

Вода вскипела, а Анфертьев все продолжал свистеть носом.

Локонов заварил чай, подошел к спящему, наклонился и хотел разбудить его, но полосы на теле распластавшегося человека привлекли его внимание.

Локонов поднялся и в немом удивлении смотрел на Анфертьева.

– Выпоротый человек, – подумал хозяин.

Локонов вспомнил рассказ о некоем реалисте Пушкинове, которого во время гражданской войны, выпороли свои же гимназисты, ставшие добровольцами, за то, что он снимал иконы в школах, как порка разбила его жизнь и превратила в циника.

Локонов всматривался в собутыльника. Перед ним, несомненно, лежал один из таких людей.

– Надо, чтобы он не знал, что мне известна его тайна.

Локонов прикрыл спящего одеждой.

Прикрыв гостя, Локонов отошел к окну.

Воробьи клевали булку. Вдали виднелась скользкая от дождя береза, под которой еще так недавно сидел циник Анфертьев, подняв свой воротник.

Не оборачиваясь, Локонов просидел до сумерок.

Поезд прошел по железнодорожному мосту.

В огромном доме напротив зажглись огни.

Какой угодно пакт и с кем угодно готов был заключить увядающий человек, чтобы вернуть, хотя бы ненадолго, себе молодость, чтобы отделаться от мучающего еще ощущения пустоты мира.

В комнате постепенно светлело. Мучимый бессоницей, встал и подошел к окну. Солнце освещало двор, под окном – следы ног, наполненные водой.

Анфертьев встал страшный, опухший. Глаза у Анфертьева бегали. Стук в виске начал превращаться во что-то членораздельное. Анфертьев прислушался.

Голос в виске стал произносить слова вполне отчетливо.

ГЛАВА 13

КРАЖИ

Вот солнце – богиня, основательница Японии, мать первого императора. Ее обидел младший брат, бросил шкурку нечистого животного в ее спальную!

Пуншевич закурил и продолжал:

– Богиня в это время ткала. Она рассердилась и скрылась за скалой. Наступила вечная ночь. Боги – ее вассалы – собирались и принялись думать, как поступить, чтобы вызвать ее из-за скалы, чтобы снова появилось Солнце. Устроил пир перед скалой. Долго пели они там и танцевали. Среди них была молодая красавица-богиня. Она принялась танцевать так смешно, что даже обнажалась, появились груди. Боги рассмеялись. Богиня-Солнце не выдержала, ей захотелось узнать, что рассмешило так богов. Она слегка раздвинула скалы. Тогда самые сильные боги бросились и совсем раздвинула скалы и ее заставили выйти. И опять на свете появилось солнце. Она была последней представительницей царствовавшей богиней!

– Что, – спросил он у Жулонбина, – неплохо?

– Очень даже плохо, – мрачно ответил Жулонбин. – Если мы каждому предмету будем посвящать столько времени и от каждого предмета уноситься куда-то вдаль. . .

– Позвольте, – возразил Пуншевич, – я погружаюсь в предмет, а не отвлекаюсь от него.

– Нет уж позвольте, – резко перебил Жулонбин, – что есть этот предмет? Спичечный коробок. Так давайте, рассмотримте его, как спичечный коробок. А вы что делаете? Вы уноситесь в мифологию. Что общего, скажите, между спичечным коробком и тем, что вы мне порассказали? Мы должны классифицировать предметы, изучать предметы, так сказать имманентно. Какое нам дело до всех этих картинок? Ведь мы не дети, которых привлекает пестрота красок и образов. Вот что, дайте мне вашу коллекцию на один вечер.

– Позвольте, – ответил Пуншевич, – вы и так поступаете не совсем корректно. Мы все вносим в общую сокровищницу, а вы даже не внесли и самого пустяшного предмета. Вы все обещаете завтра, завтра принесу, и никогда ничего не приносите.

Руки у Жулонбина дрожали.

Дайте хоть на одну ночь эту коллекцию, – сменил он резкий тон на умоляющий. От волнения он встал. Его лицо носило следы великой горести.

– Не вернет, – подумал Пуншевич, – никак нельзя ему дать. Он

жуткий человек, для которого самый процесс накопления является наслаждением. Так, для игрока в карты сперва карты являются лишь средством. Так игрока сперва волнуют доступные в будущем картины и жизнь представляется удивительной. А затем остается только „выиграю или проиграю”. Так и писатель, должно быть, сперва пишет, чтобы раскрыть особый мир. Но нет, писатель, пожалуй, сюда не относится.

Умоляя, Жулонбин стоял и горестно перелистывал тетрадку.

– Если вы мне дадите на одну ночь, – сказал Жулонбин, сжимая тетрадку, видно было, что его руки сами хотят спрятать ее в карман, – то тогда завтра я принесу. . .

Но тут Жулонбин запнулся. Нет, ни за что он не расстанется с брючными пуговицами, с поломанными жучками, с огрызками карандашей, с этикетками от баклажанов, визитными карточками. Жулонбин чувствовал, что он ничего, решительно ничего не принесет завтра и знал, что если эта тетрадка попадет в его комнату, то уж больше никто ее не увидит, что несмотря ни на какие обидные слова, ее у него не выманить.

– Хотя вы и относитесь к вещам совершенно иначе, совсем не так, как мы, но все же я рискну и дам вам на одну ночь эту тетрадку. Но только, чтоб к двенадцати часам она была у меня.

– Спасибо, – сказал Жулонбин радостно, – я честный человек.

Ссутлившись, стараясь не смотреть по сторонам, вернулся Жулонбин в свою комнату и лег в постель.

Вбежала Ираида, укрыла его плечи одеялом.

– Отстань, не мешай, я не люблю.

Ираида захлопала в ладоши и стала приставать:

– Расскажи, как ты любишь? Расскажи, как ты любишь, нет, ты расскажи, как ты любишь.

– Не топай, иди к маме, – сказал Жулонбин.

– А я видела во сне волка, – воскликнула радостно Ираида. Он меня обнимал, целовал.

– Постой! – Сновидение – вскричал Жулонбин. – Я совсем позабыл, что решил собирать сны.

И Жулонбин погрузился в мечты о новой огромной области накопления.

Во сне Жулонбин видел, что он борется с Локоновым и отнимает у него накопленные сновидения, что Локонов падает, что он, Жулонбин, бежит в темноте по крышам, унося имущество Локонова.

– А что, если украсть, – подумал Жулонбин, – ведь никто не поверит, что можно украсть сновидения.

Все существо Анфертьева проникло безотчетными томлением. Волчьими глазами глядели фонари. Они казались Анфертьеву красными угольными точками, улицы казались более темными, чем были

они на самом деле, более узкими, панель как бы убегала из-под его ног. Он шел так, если б шел в гору, весь склонившись вперед, он готов был упасть.

Эту песню пел уж не он, сознание покинуло его.

Он пришел в себя. Перед ним сидел Вшивая Горка. В комнате носился пивной чад, знакомые фигуры завсегдатаев бросали слова, исповедывались, дремали, где-то далеко стояла стойка.

Помимо своей воли Анфертьев продолжал свою речь, начатую в бессознании. Он прислушивался к своим словам, как к чему-то чужому.

Он замолчал.

Кругом шли обычные пивные разговоры о службе, ревности, рябчиках и пивных.

Как в трубу ему кричали разные голоса:

– Иду я по городу, мучаюсь и думаю, сколько в городе сейчас людей идут и ревностью мучаются.

– Да ты не мучайся, это старая страсть, направь свои силы на другое, будь мужчиной.

– Излишне доверял своей жене – вот и мучается, – вставил свое слово опухший человек. В женщине нельзя быть уверенным. Мой приятель – шофер свою жену всюду за собой таскает.

Кто здесь шоферов поносит. Я шофер, вы все здесь мартышки, молчите.

– Да что же ты лезешь своей бледной щекой на мой румяный нос – узнал Анфертьев голос Нерва.

Лица стали выступать из тумана. Анфертьев понял, что Вшивая Горка обращается к нему:

– Лакернем еще.

Анфертьев подставил кружку. Вшивая Горка налил туда спирту. За столик Вшивой Горки и Анфертьева сел мрачного вида человек.

– Эй, – сказал он, – какие теперь игроки! Раньше бывал биллиардные состязания – из-за границы гастролеры приезжали! Помню приехала француженка. . . всех обыграла, даже Чижикова, лучшего игрока России.

Да, еще во времена НЭПа это доходная статья была. Вот возьмите, хотя бы меня! В 24-25 году я был безработный и ходил без денег. Жил я в Москве. Чтобы сделать деньги, прихожу в клуб к десяти часам. Увидит меня шпана и начнет деньги собирать. Принесет мне рубля три:

– Саша! Играй.

Я к маркеру.

– Мне биллиард!

Маркерский приносит. 2-3 часа – 20-30 рублей. Половину отдаешь шпане, половину себе. А теперь все футбол, бокс – мерзость одна,

даже настоящей французской борьбы нет. Помню, французскую борьбу скобари любили.

Говоривший взглянул вдруг пристально на своих собеседников. – Кажись, не туда я сел.

– Посиди парень, ничего, поболтаем, – сказал Вшивая Горка и налил подсевшему спирту в кружку.

– Нагазовался я сегодня.

– Небось, гусыню одолел.

– Кто это там в перчиках вошел.

Вшивая Горка обернулся. Это был Мировой.

– Эх, ноги, – сказал он, подходя к столику и обращаясь к Анфертьеву, – Возьми мешок и слетай за полфедором.

Но Анфертьев бессмысленно смотрел на него. „Ноги" были пьяны совершенно.

Опухший и багровый, Анфертьев чувствовал, что он не может больше работать. Голос в виске мешал ему.

С ужасом Торопуло как-то заметил, как пьет Анфертьев. Пьяница уже брал рюмку обеими руками, склонял голову и пил с каким-то страшным благоговением.

Торопуло зашел с Анфертьевым в первое попавшееся кафе. Он хотел напоить горячим кофеем своего друга, уговорить пойти к доктору.

Анфертьев в своем гороховом жар-жакете на рыбьем меху дрожал как пойманный карманник.

Поднятый бывший барашковый воротник плохо защищал его голую шею.

Пьяница был обут в огромные английские военного образца ботинки, у кого-то провалявшиеся лет десять.

Благообразный и величавый в шубе с бобровым воротником спец Торопуло и темный человек, дурно пахнувший после весело проведенной ночи, подошли к буфету.

Торопуло стал читать вывешенный список имеющихся блюд, но буфетчица с усмешечкой уронила:

– Не читайте, напрасно аппетит возбуждаете, все равно ничего нет. Садитесь за столик, что есть, вам подадут.

Инженер и темная личность сели за столик под яркой пальмой, пахнувшей свежей краской.

Подобострастно и бесшумно к ним подкатился старичок – профессионал.

Нежно склонив голову, он страдальчески, спросил, что им угодно.

– Осетрина есть?

– Нет-с, есть только пряники и коржики. Я вам принесу не по пятнадцать копеек, а по двадцать, – шепнул он на ухо дородному спецу, – они получше.

– Ну что ж, штучек десять дайте и кофе.

– Слушаюсь.

Пятясь задом, исчез профессионал.

С приятной улыбкой, профессионал принес и поставил на стол двадцать пряников и четыре стакана кофе.

– Человек в стачке с буфетчицей – сказал Анфертьев, превозмогая нервную дрожь.

– Ладно, – возразил Торопуло, – пусть меня обдувает, это его профессия.

Но Анфертьев видел, что и других посетителей буфетчица с улыбочкой отваживает от буфета, а старичок ощипывает.

Сообщество с ворами, налетчиками и убийцами доставляло Анфертьеву какое-то нравственное наслаждение. Исковерканный язык их, цинизм, постоянное ощущение опасности действовали, как энергичный соус на расслабленный желудок, то есть вызывали аппетит, желание пожить еще, поострить.

Но арапов, вроде этого старичка и буфетчицы, Анфертьев, привыкший к общению с налетчиками и с ворами, презирал. Это были щипуны.

После кафе Торопуло отправился в гости к Анфертьеву. Ему хотелось узнать, как живет его приятель, нельзя ли ему помочь.

Анфертьев шел по улице и невольно, несмотря на все увеличивающуюся дрожь замечал то, что другие не видят.

Он видел медуз, запускающих свои пальцы в кооперативы, замечал, с каким невинным видом эти люди уносят товары. Он узнавал городушников и лиц, пристально всматривающихся в неосвещенные окна, он знал, что они поднимутся и позвонят, если же никто не ответит, то быстро откроют дверь своим инструментом, возьмут первую попавшуюся вещь и, придав себе невинный вид, смоются.

Убийцы, налетчики были, по мнению Анфертьева, такие же люди, как и все, иногда немного пострашнее.

Он считал, что сам не крадет и не убивает лишь потому, что ему незачем красть и убивать.

Воры знали, что если Анфертьев и не совсем свой, то все же он их не продаст. Не бойся, не продам, – сказал как-то карманнику – тебя и не боимся – иди продавай!

Дом, в котором жил Анфертьев, напоминал вертеп или Вяземскую лавру. В нем доживал свой век и различный темный люд.

Дом был до того густо населен, что из открытых окон неслось зловоние.

Многие комнатки были разделены на четыре части занавесами. Каждая комната в отдельности напоминала табор, полуголые детишки

выглядывали из-за занавесей, старухи на столах, обязательно накрытых скатертью, гадали, барышни, оставшись наедине с собой, вдруг начинали жеманничать и рассматривать свою красоту, мужчины хлопать себя по груди и приходить в восторг до визга и топота от своего сложения.

Все были в долгу друг у друга и все ненавидели и презирали друг друга.

Когда проходили Анфертьев и Торопуло, кура бегала по двору. В окне третьего этажа показался бюст певца, торговавшего чужими песнями. На голове бюста была элегантная кепка, синий с полосками шарф был обвернут вокруг шеи.

– Эй, крыса, –закричал, боюсь,– ты мне нужен. И ты Анфертьев тоже зайди. Бюст, бросив во двор окурок, скрылся.

Табачник на культяпках, огрызнувшись, стал подниматься по лестнице.

– Вот что, – сказал Мировой, – мне инвалид нужен, жизнь вольную и богатую я тебе на старости лет предлагаю, будешь каждый день в стельку пьян, если пожелаешь. Слышал я, как ты поешь, голос у тебя сиплый, гитару ты, точно бабу, щиплешь. Будешь ты любовные романсы распевать, мою публику это до слез проймет. Кубанку тебе еще завести не мешает. Садись, папаня, сейчас я тебе все толком объясню.

И не давая вздохнуть Синеперову, бегая жуликоватыми глазами, он, взяв его под руку, посадил к столу, где стояли водочка и закуска.

– Видишь, как я живу. И ты также жить сможешь. Будут у тебя на столе все дефицитные товары. Девушки тебя любить будут. Заграничные папиросы снова покуривать начнешь. Смотри, у меня денег куры не клюют.

Мировой вынул из кармана кипу кредиток и бросил рядом с водкой.

Стол был накрыт удивительно чисто. Скатерть, синеватая, как рафинад, и подкрахмаленная, спускалась до середины точеных, украшенных шарами, ножек. Витиеватый, наполненный влагой графин, бюсты и талии рюмок сверкали на солнце. Сочная полная, необыкновенной величины вобла со своей золотой головой лежала красавицей на блюде. Рядом стройная, чуть подернутая серебряной сединой селедочка раскрывала наполненный зеленью рот. Огромная колбаса с белоснежными кольцами жира чуть касалась тарелки. Желтокрасная кетовая икра вызывала горечь во рту.

Все призывало выпить. И эта наполненная светом, удивительно чистая комната, богатая постель с колонной постепенно уменьшающихся подушек, заставили Синеперова подумать, что сегодня праздничный день. Но тщетно он пытался припомнить, что могло бы послужить сегодня поводом к столь тожественной чистоте.

Исподлобья он взглянул на богато убранный стол.

– Видишь, папаня, как люди живут, – сказал Мировой. Это что, начало дня, а вот если ты пойдешь со мной, у тебя совсем мозги вспотеют.

Подхватив инвалида, Мировой подвел его к столу, и, отняв костыли, заставил сесть.

– Нагружайся, – сказал он, – пей, ведь не краденное. Пей, раз пришел.

Анфертьев явился.

– Вот что, миляга, – сказал Мировой. – Видишь полфедора – он показал Анфертьеву поллитра. – Ты у меня завтра петь будешь, я театр организовываю. Хрусты еще в придачу получить. Ты же один не пой, я тебя покупаю.

– Ладно, мне все равно, – ответил Анфертьев, – дай приложиться.

Возвращался Торопуло, а следом за ним шла Манька-Сверчок.

Спустя полчаса после возвращения Торопуло раздался звонок. Торопуло открыл дверь. Перед Торопуло стоял человек со значком „Готов к труду и обороне".

– Здесь живет Василиса Михайловна?

– Какая Василиса, – удивился Торопуло.

– Это квартира восемь?

– Нет, четыре.

– Извиняюсь.

Анфертьева разбудил страшный крик за стеной. Он прислушался.

– Выну я из тебя твою жемчужную распроклятую душу и вместо нее вставлю. . .

– Опять милые ссорятся – подумал Анфертьев и задремал. Его уже давно не волновали женские крики.

Мировой не договорил. В одной рубашке выскочила Пашка на снег. Двор бы пустынен.

Ей показалось, что идет фильм.

Она почти слышала характерный треск, какой бывает при прохождении ленты в аппарате. Ей казалось, что это не с ней происходит. Она остановилась во дворе и не знала, что ей делать. Ворота были заперты, будить дворника было невозможно.

Как затравленный зверь, она закричала, затем завизжала.

– Бьют, бьют! – и покатилась по камням.

В остервенении Мировой бросился за ней, пытался схватить ее за волосы, за рубашку, зажать ей рот, чтоб эта стерва не позорила его, но она отбивалась, кричала все истошнее, невыносимее. Он принялся ее бить ногами, наклоняясь и спрашивая будет ли она еще кричать.

Он ударил ее ногой под ребра и отошел.

Она поднялась, побежала за ним, крича

– Как ты смеешь меня бить!

Она ругала его последними словами. Он дал ей в морду, она сжевала и съела оплеуху.

Она стала за ним подниматься по лестнице.

– Проси прощения, – сказал Мировой мрачно.

– Я знаю, как со стервами нужно обращаться, – подумал он, теперь неделю будет, как шелковая.

Анфертьев слышал, как его соседи вернулись.

Когда все успокоились, он крепко уснул.

Мировой рылся в письменном столе и в полголоса произносил – Мать твою так. Что же это значит. Издеваются надо мной что ли?

Какую бы пачку он ни раскрыл всюду многокрасочные изображения на конфектных бумажках.

Заглянул Мировой вглубь стола – и там конфектные бумажки.

Чертыхнувшись, он принялся открывать другие ящики – точно пачки кредиток: аккуратно связанные золотыми и серебряными ленточками, лежали пожелтевшие меню.

Прочел Мировой, разобрал и вдруг воспылал негодованием.

– Такого инженера нужно поматросить да в Черное море забросить, – произнес он почти вслух – Посмеялись надо мной вместо инженера повара мне подсуробили. Будет у Пашки спина мягче живота. Пусть знает, не фрайер я, чтоб меня на хомут брать.

Но тут его взгляд упал на сундук, стоявший в углу. Быстро открыл его Мировой, стал рыться и запихивать в карманы.

Один сверток раскрылся, сверкнули ордена. Подмигнул Мировой и закрыл сундук.

Точно тень, исчез из комнаты.

ГЛАВА 14

ГАСТРОЛЬ АНФЕРТЬЕВА

– Не отставай, гады, – обернувшись, крикнул Мировой и со своей кухаркой пошел вперед.

Два капитана, один с гитарой, другой с мандолиной и Анфертьев в качестве гастролера-певца спешили за ним.

На голове гитариста сидела кубанка, во рту торчала папироса, обшитая лакированной кожей культяпка сверкала, как голенище. Другой инвалид был одет попроще, у него не хватало только одной ноги, вместо другой у него была деревяшка с явными следами полена. Петлицу его пиджака украшала красная розетка. Он шел без головного убора.

Наконец, компания достигла забора. Позади остались раскачиваемые ветерком ситцевые платья, бабы с квасом и лимонадом, мужчины, расхваливающие брюки, группы любующихся ботинками.

На сломанный ящик Мировой посадил инвалидов, Анфертьева поставил несколько в стороне в качестве каторжника и пропойцы и приказал играть сидящим Персидский Базар.

Когда публики собиралось достаточно, Мировой стал повторять громким голосом:

– Граждане, встаньте в круг, иначе оперы не будет.

Но любопытные стояли, лениво переминаясь с ноги на ногу и иронически посматривали на разорявшегося человека.

Тогда Мировой подошел ко все увеличивающейся толпе.

– Тебе говорят, встань в круг, – сказал он щупленькому человеку и, слегка подталкивая каждого, уговаривал и призывал к порядку.

Наконец, круг образовался.

– Сейчас, граждане, жена алкоголика исполнит песнь, – сказал режиссер и отошел в сторону.

В середине живого круга появилась женщина в платке, нарумяненная, с белым, сильно пористым носом и широким, тяжелым подбородком. Туфельки у нее были модные, чулки шелковые, как бы смазанные салом, пальто дрянное, скрывавшее фигуру.

Певица надвинула платок еще ниже на глаза, не глядит ни на кого, запела:

Смотрите, граждане, я женщина несчастная,
Больна, измучена и сил уж больше нет.

Как волк затравленный, хожу я одинокая,
А мне, товарищи, совсем немного лет.

Была я сильная, высокая, смешливая,
Все пела песенки, как курский соловей,
Ах, юность счастлива и молодость красивая,
Когда не видела я гибели своей.

Я Мишу встретила на клубной вечериночке,
Картину ставили тогда Багдадский Вор,
Ах, очи карие и желтые ботиночки
Зажгли в душе моей пылающий костер.

Она подошла к Анфертьеву, посмотрела на него и продолжала:

Но если б знала я хоть маленькую долюшку
В тот день сияющий, когда мы в ЗАГС пошли,
Что отдалася я гнилому алкоголику,
Что буду стоптана и смята я в пыли.

Брожу я нищая, голодная и рваная,
Весь день работаю на мужа, на пропой,
В окно разбитое луна смеется пьяная,
Душа истерзана объятая тоской.

Не жду я радости, не жду я ласки сладостной,
Получку с фабрики в пивнушку он несет,
От губ искривленных несет сорокоградусной,
В припадках мечется всю ночь он напролет.

Но разве брошу я бездушного, безвольного,
Я не раба, я дочь СССР,
Не надо мужа мне такого алкогольного,
Но вылечит его, наверно, диспансер.

Она обвела взором живой круг и, выдержав паузу, продолжала:

А вы, девчоночки, протрите глазки ясные
И не бросайтеся, как бабочки, на свет,
Пред вами женщина больная и несчастная,
А мне, товарищи, совсем немного лет.

В толпе раздались всхлипывания, женщины сморкались, утирая слезы. Какая-то пожилая баба, отойдя в сторону, рыдала неудержимо.

Круг утолщался, задние ряды давили на передние.

Певица, кончив песню, повернулась и пошла к музыкантам, настраивающим свои инструменты.

Мировой снова выравнял круг, затем вынул из желтого портфеля тонкие полупрозрачные бумажки разных цветов, помахал ими в воздухе.

– Граждане желающие могут получить эту песню за 20 копеек.

Бабы, вздыхая, покупали.

Хулиган подмигнул Крысе. Он вышел на середину. Он открыл рот, посматривая на свой инструмент, запел:

Раз в цыганскую кибитку
Мы случайно забрели,
Платки красные в накидку
К нам цыганки подошли.
Одна цыганка молодая
Меня за руку взяла,
Колоду карт в руке держала
И ворожить мне начала.

Пашка, только что исполнявшая песнь жены алкоголика, появилась в красном с голубыми розами, с серебряными разводами платке и, держа карты, произнесла злым голосом:

Ты ее так сильно любишь,
На твоих она глазах,
Но с ней вместе жить не будешь,
Свадьбу топчешь ты в ногах.
Но все время не отходит
От тебя казенный дом,
На свиданье к тебе ходит
Твоя дама с королем.

Цыганка продолжала, пристально смотря на карты.

Берегись же перемены,
Плохи карты для тебя,
Из-за подлой ты измены
Сгубишь душу и себя.

Снова раздался мужской голос:

На том кончила цыганка
Я за труд ей заплатил.

Мировой вынул и бросил трешку инвалиду. Инвалид бросил ее цыганке. Цыганка подняла и спрятала за голенище. Затем удалилась.

И заныла в сердце ранка
Будто кто кинжал вонзил.
Едва добрался я до дому
И на кровать упал, как сноп,
И мне не верилось самому,
И положил компресс на лоб.
Собрался немного с силой,
Рассказал ей обо всем.

В это время актриса уже в другом платке появилась и подхватила:

Ах, не верь, о друг мой милый,
С тобой гуляю и умру.

Исполнитель выждал и запел:

Вот прошло немного время,
Напоролся как-то я,
Из гостиницы-отеля
Под конвой берут меня.
Вот казенный дом с решеткой,
Вот свиданье с дорогой,
Жизнью скучной, одинокой
Просидел я год-другой.
Когда вышел на свободу,
Исхудавший от тоски,
Вспомнил карты, ту колоду,
Заломило мне в виски.
Что цыганка предсказала,
Все сбылося наяву,
И убил я за измену
И опять пошел в тюрьму.

Теперь толпу обошла цыганка.

Крыса вышел на своих культяпках,

– Обманутая любовь, – сказал он, обводя круг своими большими глазами и запел тихим голосом:

Все прошло, любовь и сновиденья,
И мечты мои уж не сбылись,

Я любил, страдал ведь так глубоко,
Но пути с тобою не сошлись.

Так прощай, прощай уже навеки,
Я не буду больше вспоминать,
Я любовь свою теперь зарою
И заставлю сердце замолчать.

Я уйду туда, где нет неправды,
Где люди честнее нас живут,
Там наверно, руку мне протянут,
И наверно там меня поймут.

Кончив, он обошел круг, держа в руках розовую бумажку.

Торговля шла бойко.

Под аккомпанемент всего хора Анфертьев исполнил песню, сочиненную Мировым на недавно бывшее событие.

На одной из рабочих окраин,
В трех шагах от Московских ворот,
Там шлагбаум стоит, словно Каин,
Там, где ветка имеет проход.

Как-то утром к заставским заводам
На призывные звуки гудков
Шла восьмерка, набита народом,
Часть народа висела с боков.

Толкотня, визг и смех по вагонам,
Разговор меж собою вели –
И у всех были бодрые лица,
Не предвидели близкой беды.

К злополучному месту подъехав,
Тут вожатый вагон тормозил,
В это время с вокзала по ветке
К тому месту состав подходил.

Воздух криками вдруг огласился,
Треск вагона и звуки стекла.
И трамвайный вагон очутился
Под товарным составом слона.

Тут картина была так ужасна,
Там спасенья никто не искал.
До чего это было всем ясно –
Раз вагон под вагоном лежал.

Песня имела огромный успех и была раскуплена моментально.

Вернувшись в свою комнату, Мировой, окрыленный очередным успехом, принялся сочинять новые песни. Перед ним стояла бутылка водки. Он сочинял песню, которую публика с руками будет рвать.

В комнате Мирового висела фотография. Он выдавал себя за бывшего партизана комиссара. Сидит он за столом, на столе два нагана, в руках по нагану.

В годы гражданской войны Мировой торговал на Пушкинской и на Лиговке, доставлял своим приспешникам наиприятнейшее средство к замене всех благ земных, правда, в те годы он и сам его употреблял в несметном количестве.

Тогда он имел обыкновение лежать в своей комнате на Пушкинской улице в доме, наполненном торгующими собой женщинами, изображать больного, не встающего с постели. В подушках у него хранились дающие блаженство пакеты, за которые отдавали и кольца, и портсигары, и золотые часы, верхнюю и нижнюю одежду, крали и приносили целыми буханками ценный, не менее золота хлеб и в синих пакетах рафинад, и кожаные куртки, и водолазные сапоги, на них тогда была мода. Все эти предметы на миг появлялись в комнате Мирового и исчезали бесследно. Женщины, виртуозно ругающиеся, толпились у постели Мирового, вымаливая часами хоть заначку. В его комнате было жарко, как в бане. Он лежал молодой и сильный.

Напротив в садике, у памятника Пушкину собирались его помощники, сидели на скамейках, ждали его пробуждения или того момента, когда наступит их очередь. В его комнате, ради безопасности, мужчинам толпиться не разрешалось. Помощники сидели на зеленых скамейках, под городскими чахлыми деревьями, курили старинные папиросы, все, что относилось к мирному времени, уже тогда называлось старинным, понюхивали чистейший порошок и волнивались. Им уже начинало казаться, что их преследуют.

Не всегда помощники были у Мирового профессионалы в ту эпоху.

Были у него и широкоплечие матросы, и застенчивые прапорщики и решившие, что не стоит учиться, что все равно все пропадет даром, студенты, и банковские служащие, одетые, как иностранцы.

– В свое время я на пружинах скакал, почти все припухли, а я вот живу, песни сочиняю.

Ему вспомнилась удачная ночь на Выборгской стороне, когда он в белом балахоне выскочил из-за забора и, приставив перо к горлу,

заставил испуганного старикашку до нага раздеться и бежать по снегу – вот смеху – то было. И как в брючном поясе у безобидного на вид старикашки оказались бриллианты: „Да" теперь ночью бриллиантов никто не приносит, – подумал он, – искать теперь бриллиантов не приходится".

– Давай, гад, хоть с тобой в колотушки сыграем, – сказал Мировой, явившемуся за водкой и деньгами Анфертьеву – Что-то мои гады не идут.

И, сдавая кованные карты, от скуки запел Мировой старинную, сложенную им в годы разбоев, песню:

Эх, яблочко, на подоконнике,
В Ленинграде развелись живы покойнички,
На ногах у них пружины,
А в глазах у них огонь,
Раздевай, товарищ, шубу,
Я возьму ее с собой.

– Ты какой-то Вийон новый, – сказал Анфертьев, усмехаясь.

– Это еще что – ? – спросил Мировой.

Поэт был такой французский, стихи сочинял, грабежами занимался. А потом его чуть не повесили.

– Ну, меня-то не повесят, – сказал Мировой.

Мировой достал люстру и налил стакан.

– Пей, гад, в среду опять приходи петь.

– А хрусты? – спросил Анфертьев.

– Пока бери трешку. Следующий раз остальное. То знаешь и в концерте участвовать не сможешь.

Когда ушел Анфертьев, Мировой стал готовиться к настоящему делу. Он поджидал Вшивую Горку и Ваньку Шофера.

Вынул из-под пола набор деревянных пистолетов и стал перебирать. Издали они выглядели настоящими.

– С игрушками приходится возиться, – подумал он – То ли дело настоящий шпалер. Теперь песнями приходится промышлять а раньше для души сочинял их.

Стояла луна. Анфертьев шел в своей просмерденой одежде одинокий и несчастный.

– Вот все, что есть, – сказал Локонов, наливая рюмку и ставя на стол.

Он повернулся и опрокинул рукавом рюмку.

Анфертьев с минуту смотрел на опрокинутую рюмку, затем в глаза Локонова, стараясь разгадать что-то.

Лицо у пьяницы исказилось, он подошел вплотную к Локонову. Голос в виске шептал ему, что его травят.

– Травишь, – повторил Анфертьев.

В этой рюмке сосредоточилось для Анфертьева спокойствие его души, возможность человечески провести несколько часов.

Анфертьев был вне себя. Руки его сами сжимались. В глазах потемнело. Голос в виске звучал все настойчивее. Вся комната наполнилась голосами.

Анфертьев почувствовал облегчение. Пошатываясь, багровый с запекшимся ртом, вышел Анфертьев от Локонова. Он пошел к киоскам допивать пиво, остающееся в кружках, его отгоняли. Он странствовал по всему городу.

Наконец, его угостили. Он свалился и уснул.

Жулонбин постучал. Никто не ответил. Жулонбин обрадовался. Он подойдет к столу, откроет ящик, возьмет и незаметно скроется.

Жулонбин отворил дверь. Вошел в комнату.

Он отпрянул. На полу лежал, раскинув руки, Локонов.

В растворенную дверь заглянули. Раздался истошный женский визг. Жулонбин попытался скрыться.

За ним погнались. Толпа все увеличивалась. Жулонбин бежал изо всех сил.

– Лови! Держи! – кричали из толпы.

Начали раздаваться свистки.

Из кооперативов стали выбегать люди.

Когда он пробегал мимо пивной, парень, стоявший у двери подставил ему ножку.

Жулонбин растянулся со всего размаху. Его моментально окружили и повели.

ГЛАВА 15

ПОЕЗД

Клешняк ехал навестить брата техника на нефтяных промыслах в Баку, которого он не видел лет двадцать. Оттуда он должен был вернуться домой в Киргизию через Красноводск на Арысь. Он с удобством расположился на верхней полке. Он следил, как исчезает бывший Петербург, ныне Ленинград.

Некоторое время пассажиры сидели молча. Присматривались друг к другу. В уме оценивали друг друга. Старались отгадать социальное положение друг друга. Возможно ли в случае чего доверить вещи? С этой целью начали перебрасываться незначущими фразами. Затем стали готовиться ко сну. Перед сном развернули пакеты. Закусили. Некоторые запили молоком, другие пивом. Один парень очень осторожно, стараясь, чтобы никто не заметил, опрокинул полстакана водки. Затем, закусив изрядно, сказал:

– Ехал я в поезде. Был осмотр. Вывели троих. Санврач остался, рассказал нам об одуванчиках божьих. Оказывается наконец-то идет идет настоящая борьба со вшами.

– Надо выкорчевать это зло, покончить, – прервал человек лет 48 в синем пальто. – Помню на фронте мы совсем от бекасов ума решились. Вешать их стали. Выдерешь волос и повесишь на нем вшу. Да ведь все не перевешаешь. Надо организованно с ними бороться.

– Вот я и говорю: – еду в поезде. Приходит в вагон санврач всех осматривает. Шапки велит снять, ворот расстегнуть. Нет ли у кого паразитов? У троих в волосах нашли – вывели. Жених невеста ехали. У невесты-то и нашли. Стали парни смеяться – Что ж ты захороводил такую вшивую? – В публике, конечно, разговоры, – на вагон три человека – сейчас это много. А санврач и говорит: Это еще пустяки, а вот мне пришлось на Митрофаньевском кладбище взять трех старушек-побирушек. Волосы у них были совсем живые. Вошел я с санитарами в бывшую сторожку, там раньше могильщики жили. Смотрим, в углу гора позеленевших корок, почти до потолка – ясно, старушечья жадность и трусливость, а старухи пьяные сидят на лохмотьях, пьют водку, хохочут и скоромное вспоминают. Увидели нас, испугались. „Мы нищенки-стрелушки", стали они лебезить перед нами, „кто нас обидит, того Бог обидит". А мы от них подальше.

– Жилплощади у нас нет, мы в этой сторожке и поселились, не выгоняйте нас.

– Никто вас выгонять не собирается, – говорим мы, – а вот дезинфекцию придется произвести.

Ну, мы на грузовик погрузили и в дезинфекционную камеру повезли. Крику-то сколько было на грузовике.

– Ой! светопредставление, конец света!"

– Ох, мы горемычные, несчастные старушки! – а это всего-то их везли, чтобы от вшей избавить! Ванну им сделали, обрили их. Тут они уже совсем завопили: „За что опозорили нас старушек. . ." это значит обрили. Причитать над собой стали. Всю жизнь свою сиротскую вспомнили. А при дезинфекции в матрасах оказалась масса денег. Даже золотые были, а о серебре и говорить нечего, на черный день копили.

– А может быть, вмешался старик, – себе на похороны? Может быть хотели чтоб их как следует похоронили, чтоб гроб был не какой-нибудь, а дубовый и чтоб место было попочетнее, поближе к церкви:

– Вероятнее всего, что здесь просто обыкновенная старушечья жадность, – сказал вузовец.

Постепенно разговор перешел на стариков, заговорили о стариковской жадности и эгоизме.

– Ну довольно, расскажите что-нибудь из жизни.

– Было это совсем недавно на родине Тельмана в Гамбурге. Город самый коммунистический в Германии, фашисты недавно пришли. Пришел туда советский теплоход Макс Гельц. Фашисты видят советское судно, судно страшного врага, да еще это судно носит имя Макса Гельца, это имя в бешенство приводит фашистов. Перед приходом Макса Гельца было распоряжение фашистов: разгонять артель, которая разгружала советские теплоходы, конфисковать все имущество и деньги в банке самой артели. Вмешалось наше Торгпредство. Фашисты согласились разрешить разгрузку Макса Гельца, но преследовать артель продолжали. Прежде всего выловлен был председатель артели Ян Томлинг – коммунист. Его бесконечно мучили, издевались, ломали кости. Жена бегала по полицейским участкам.

– Хоть покажите мне моего мужа.

Наконец ей сказали:

– Извольте!

Ввели ее в комнату.

Видит она, гроб стоит по середине, в нем лежит Ян Томилинг, после смерти он был повешен.

Стали они потом охотиться за его заместителем коммунистом Францем, фамилии его я не помню, но поймать его не удалось. Все же погрузка кончилась. Макс Гельц должен уходить. Немецкие грузчики должны сойти с судна, но вместо этого они приходят в Красный Уголок.

Сели, облокотились, видно, что очень расстроены.

– Последний кусок хлеба нам сегодня съесть, – говорит один. Может быть, нас ждет судьба Яна Томлинга.

А другой говорит: – разве впервые нам бороться с фашизмом. Напишем письмо советским грузчикам.

Написали коротко тут они, всего 30 строк.

– Ну, вот что, – сказали они, кончив писать, – у нас здесь канифас-блоки, бухты троса берите, нам они уже все равно не нужны.

– Постой-ка, еще случай из жизни, продолжал рассказчик. Уже три года я работаю на Дзержинском кочегаром. Сейчас вот еду в отпуск, везу сыну лошадку.

– Вот танцы-то будут, – сказал токарь.

Кочегар любовно стал развязывать деревянного коня, чтоб показать токарю.

– Это чрезвычайно авторитетное судно.

– Еще бы, оно дважды получило Красное Знамя.

Токарь стал осматривать лошадку.

– И вдруг в последний рейс судно стало контрабандным, – продолжал кочегар поглаживая лошадку. – Контрабандист жил у нас в отдельной каюте. Он рассчитывал на то, что это образцовое судно Балтики. Вот он подвесил на ниточках под одежду пластинки для патефона, 3 или 4 коробки иголок, мембрану и штангель и пошел в город. Его заштопорил в контрольной будке таможенник. Видит, человек свежий, хотя и с Дзержинского. Провел таможенник по его спине и говорит:

– Будьте любезны, гражданин, зайти в будку.

– Расстегивайтесь.

Отобрали, составили протокол, штрафу 325 рублей. Мы все взволновались. Ребята совершенно были взбешены. Товарищеский суд над ним. Мы своими кровными мозолями добывали первенство в СССР, а ты из-за проклятой мембраны – ты сознательно или несознательно только это позор – не только тебе. – А он, смотрит, большущие глаза такие с синими яблоками. Вынесли: выговор и лишение прав заграничного плавания на 6 месяцев. Вот как перевоспиталась публика. Десять лет тому назад мы ведь все горами прямо возили контрабанду.

– Лошадка славная, – сказал токарь, держа игрушку за гриву. Наследник твой доволен будет. Сколько ему лет-то?

ВАГОН-РЕСТОРАН

– Вот, – сказал видавший виды вузовец – был я в Кутаисе и при мне такой случай произошел:

–Около Кутаиса жила семья. Там есть такой обычай: ездить частенько к родственникам в гости. Вино пить, весело проводить время. Там пьют не так, как у нас: там всегда выбирается председатель. Председатель выпивки, значит, следит за порядком. Они пьют организованно,

никогда там человек под столом не валяется. Приезжает старик из Кутаиса к своим дальним родственникам. Конечно, те рады, вино свое, тут же и виноградники. Созвали, как водится, родственников, друзей. Старика, натурально, выбрали председателем. А старик подвел – во время выпивки за столом помер. Конечно, паника. Везти хоронить в Кутаис надо. Вагон нанимать? А вагон нанять дорого не по средствам! Родственники и друзья беседуют; как тут быть? Видят, наступило утро. Один был тут человек хитрый, предлагает нарядить покойника, как живого, посадить на арбу и отвезти на вокзал. Поспорили, обсудили. Так и сделали. Вот, явились они на станцию: бутылки в руках держат, покойника под руки тащут совсем пьяного. Песни поют, кричат:ура! Одним словом веселье будто в разгаре. Ввалились в вагон, мертвеца посадили у столика. Пьют, беседуют, хитрого человека хвалят. Случилось так, что вино все вышло. Вот они на очередной станции оставили старика одного – побежали за вином. Входит тюрк. Ставит один чемодан на одну полку, а другой чемодан был тяжелый. Поднимал, поднимал тюрк и уронил на старика. Стукнул чемодан пассажира по башке, тот и упал. Стал поднимать старика тюрк, видит, пассажир мертвый. Весь задрожал тюрк: убил я человека! Поезд в это время тронулся. Слышит шум, сейчас войдут, что делать. Подождал. Выпихнул мертвеца в окошко. Вот, возвращаются те все оравой, в руках бутылки держат. Удивляются, видят, сидит тюрк, а мертвого родственника нет, спрашивают.

– Где тот человек, что у окна сидел?

– Пошел, – отвечает тюрк.

– Как пошел?

– Я почем знаю. Встал и пошел. Он сказал, я пошел покурить.

– Да как же покойник мог пойти покурить?

Похолодел тюрк. Откуда они узнали, что я убил его? Молчит тюрк.

– Да ведь это же был покойник, мы везли его в Кутаис.

– Рассердился тюрк.

– Так что же вы людей морочите, я думал, я человека убил.

– Да куда же ты его дел?

– Да я его за окно выбросил.

Высадились они на первой остановке и пошли обратно своего мертвеца искать.

– А нашли они его, – спросил старик.

– Конечно, куда покойник денется. Он в кустах сидел.

– Анекдот! – презрительно сказал геморроидальный субъект сидевший в углу.

Не анекдот, а новелла, – отрезал вузовец. – Читали Боккачио? Там такие новеллы встречаются. Вот и я рассказал, чтобы вас поразвлечь, а вы вместо благодарности – анекдот!

Он принялся разрезать шницель.

За столиком ближе к буфету высокий человек с орденом Трудового Знамени покашливая рассказывал.

Это было на новом гиганте – Автозаводе, возникшем на пустом месте. Я там был начальником цеха, работать пришлось свыше всякой меры. Разыгралась одна история. На строительном, как водится много приезжало туристов. Появляется среди прочих туристов человек, на нам кожаная тужурка, под мех воротник, высокие сапоги со шнуровкой, подметки точно на водолазных сапогах, причудливый берет на голове. Явно иностранец. Пошел он прямо в американский поселок, вошел в домик к инженеру, вышел вместе с ним, сели они на машину, стал турист управлять. Критиковать стал, замечать дефекты.

– Ну человек сразу видно, знающий, – решили мы, – ведь нам нужны специалисты, обрадовались, будет еще один лишний специалист у нас. Сговорились с ним насчет работы, он согласился, ответственным работником стал чуть не за должность инженера. Важно ходит так – достает – цветет – сияет. Только проходит время – выяснилось – он совсем не инженер, а парикмахер, огорчились мы, предложили ему оставить завод и отправляться во-свояси, а он уезжать не хочет – в Америке кризис, – говорит, просит оставить простым рабочим. Ничего, ха, ха!

– Что ж, оставили?

– Оставили. Парня этого можно приспособить, автомобильное дело знал самоучкой. Потом принял подданство и остался совсем в СССР.

За другим столиком.

– Теперь по сравнению с нашими электростанциями в Норвегии и Швеции просто живопырки.

– Я читал заметочку в газете, на самом севере нашли какую-то речушку и там построили гидростанцию. Белый уголь пошел в моду, Волгу запрягут тоже. Вот шагаем.

– Да, на Волге будет построена электростанция, запрягут реку.

– Оказывается климат Волги вполне подходит к произрастанию винограда будет у нас виноград. Ничего уха!

– Мы создали крупнейшие заводы сельскохозмашиностроительства.

Харьковский.

Сталинградский.

Ратсельмаш.

Саратовский комбайный.

Страну как корабль, оснастили сельхозмашинами. Станет прошлым корова навозница и лошадь одер.

– Вот возьмите моего отца, жил он в деревне Пупырево – одно название чего стоит, землицу имел вместе с журавлями на болоте.

Бывало, выйдет в поле – люди жнут рожь, а у него и в хороший год цветки да трава на ниве – некогда было землю ковырять, тридцать лет батрачил у графа Строгонова.

Теперь там колхоз Самохвалова.

– Да у моего отца была избенка, что чирий, а деревня носила помещичье название ,,Бабонегово'', какой-нибудь дурак помещик так назвал.

В конце вагона-ресторана сидела компания цыган в своих пестрых костюмах, пила вино и видно было, что в деньгах они не стесняются.

ГЛАВА 16

Истый хулиган пел:

Прощай Тарновская больница,
Прощай железная кровать,
Пойду в родную я квартиру
В своей я койке умирать.
Пропал мой нос, пропали губы
Пропал и тонкий голос мой.

Он стал задевать прохожих. На нем был заграничный галстук, купленный на проспекте Огородникова у иностранного моряка. Этот галстук и свою болезнь хулиган уважал. Галстук по его мнению, его выделял и сообщал ему красоту, болезнь, доказывала его смелость.

– Эй- неудачная блондинка! Нельзя ли мне пришвартоваться к тебе. Давай поищемся, что ли.

Женщина бежала от этой истощенной жалкой безголосой фигуры. Ветер погнал высохшего хулигана, как сухой лист, по проспекту.

Это был последний выход „Вшивой Горки”. „Вшивого Горку” Мирового и Ваньку-Шоффера арестовали за хулиганство и выслали из города.

Проза Вагинова, лишь недавно вновь „открытая", дает живую картину раннего Советского Ленинграда. Его роман „Гарпагониада", написанный в 1932-34 гг., печатается впервые. В „Гарпагониаде" (Гарпагон — герой „Скупого" Мольера) собраны портреты чудаков и неудачников, основным занятием которых представляется собирание и каталогизирование таких разнообразных наименований, как спичечных коробок, визитных карточек и сновидений в редкие часы воздержания от алкоголя.

Константин Константинович Вагинов родился в 1899 г. в Петербурге. В 1923 г. он поступил в Институт Истории Искусств и учился там до 1926 г. Вся жизнь Вагинова связана с Петроградом. В процессе своей деятельности он последовательно сближался с имажинистами, обэрутами и футуристами; известное влияние на его творчество оказали также представители формальных теорий литературы. Среди его поэтических сборников: „Путешествие в хаос" и „Опыты соединения слов посредством ритма".

„Феномен Вагинова может быть понят лишь в связи с той рафинированной культурой, которая существовала в Ленинграде 20-х — начала 30-х годов. Если бы его, как писателя группы „Серапионовых братьев", спросили — с кем он, он ответил бы — с Филостратом. Однако он не мог долго оставаться на этой позиции. Проза его, насквозь пропитанная ушедшей от нас злободневностью, изобилующая намеками и карикатурами, не лишенная интеллигентского мазохизма, была своего рода платой за право сохранить нетронутый свой поэтический мир." — Л. Чертков, из „Послесловия" к „Собранию стихотворений" (Мюнхен, 1982).